

ИЛЛЯ ИЛЬФ, ЕВГЕНИЙ ПЕТРОВ

СВЕТЛАЯ ЛИЧНОСТЬ

Илья Ильф Евгений Петров Светлая личность

Издательский текст

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=174019

1001 день, или Новая Шахерезада: Эксмо; М.; 2008

ISBN 978-5-699-27789-6

Аннотация

В основе сатирических новелл виртуозных мастеров слова Ильи Ильфа и Евгения Петрова «1001 день, или Новая Шахерезада» лежат подлинные события 1920-х годов, ужасающие абсурдом общественных отношений, засильем бюрократии, неустроенностью быта. В эту книгу вошли также остроумные и блистательные повести «Светлая личность», «Необыкновенные истории из жизни города Колоколамска», водевили, сценарии, титры к фильму «Праздник Святого Йоргена». Особенный интерес представляют публикуемые в книге «Записные книжки» И.Ильфа и воспоминания о нем Е.Петрова.

Содержание

Глава I «Веснулин Бабского»	4
Глава II «Воленс-неволенс»	19
Глава III «Кто куда, а я – в сберкассу!»	31
Глава IV История города Пищеслава	43
Глава V Юбилейная речь	55
Глава VI Каин уволил Авеля	66
Глава VII «А я здесь!»	79
Глава VIII Хищник выходит на свободу	90
Глава IX Юридический панцирь	103
Глава X «Вопросов больше не имею»	115
Эпилог	125

Илья Ильф, Евгений Петров

Светлая личность

Глава I «Веснулин Бабского»

Нет ни одного гадкого слова, которое не было бы дано человеку в качестве фамилии. Счастлив человек, получивший по наследству фамилию Баранов. Не обременены никакими тяготами и граждане с фамилиями Баранович и Барановский. Намного хуже чувствует себя Баранский. Уже в этой фамилии слышится какая-то насмешка. В школе Баранскому живется труднее, чем высокому и сильному Баранову, футболисту Барановскому и чистенькому коллекционеру марок Барановичу. И совсем скверно живется на свете гр. гр. Барану, Баранчику и Барашеку.

Власть фамилии над человеком иногда безгранична. Гражданин Баран если и спасется от скарлатины в детстве, то все равно проворуется и зрелые свои годы проведет в исправительно-трудовых домах. С фамилией Баранчик не сделаешь карьеры. Общеизвестен тов. Баранчик, пытавшийся по-

бороть проклятие, наложенное на него фамилией, и с этой целью подавшийся было в марксисты. Баранчик стал балластом, выметенным впоследствии железной метлой. Братья Барашек и не думают отдаваться государственной деятельности. Они сразу посвящают себя молочной торговле и бесславно тонут в волнах нэпа.

Герою нашего повествования досталась благонадежная, ручейковая фамилия – Филюрин. Он никогда не попадал в неудобные, смешные положения, в которых барахтаются Бараны, Баранчики и Барашеки. Солнце исправно освещало жизненный путь Егора Карловича Филюрина.

Пятнадцатого июля оно светило несколько сильнее обычного, потому что в этот день во всех учреждениях города Пищеслава выдавали полумесячное жалованье. Булыжные мостовые бросали зеркальный отсвет, перебежавший под карнизами немудреных пищеславских домов. Госпапиросник в полотняном переднике стоял на Тимирязевской площади в столбах солнечного света и жмурился на свой стеклянный ларек. На боку папиросника висел горчичного цвета фанерный ящичек с двумя надписями. Первая, прозаическая – была кратка: «Ящик для жалоб». Вторая была в стихах:

Остановитесь, потребители!

Жалобу на этого папиросника опустить не хотите ли?

В Пищеславе чрезвычайно заботились о благополучии граждан.

Егор Карлович Филюрин торопливо подошел к зашеве-

лившемуся папироснику, купил двадцать пять штук папирос «Дефект», вынул из кармана заранее заготовленную жалобу и опустил ее в горчичный ящик. Прodelывал это Филюрин ежедневно, так как был человеком с общественной жилкой. Иногда он жаловался на жесткий вкус папирос «Дефект», иногда протестовал против мягкой упаковки или же обрушивался на антисанитарный передник продавца. Если придраться было не к чему, Филюрин опускал в ящик узенькую ленточку бумаги со словами: «Сегодня никаких недочетов не выявлено. Е. Филюрин».

Пыхнув папироской, Филюрин отошел от равнодушного продавца и, пересекая вымощенную квадратными плитами площадь, очутился в освежающей тени конной статуи Тимирязева.

Великий агроном и профессор ботаники скакал на чугунном коне, простерши впереди правую руку с зажатым в ней корнеплодом. Четырехугольная с кистью шапочка доктора Оксфордского университета косо и лихо сидела на почетной голове ученого. Многопудовая мантия падала с плеч крупными складками. Конь, мощно стянутый поводьями, дирижировал занесенными в самое небо копытами.

Великий ученый, рыцарь мирного труда, сжимал круглые бока своего коня ногами, обутыми в гвардейские кавалерийские сапоги со шпорами, звездочки которых напоминали штампованную для супа морковь.

Удивительный монумент украшал город с прошлого го-

да. Воздвигая его, пищеславцы подражали Москве. В стремлении добиться превосходства над столицей, поставившей у Никитских ворот пеший памятник Тимирязеву, город Пищеслав заказал скульптору Шац конную статую. Весь город, а вместе с ним и скульптор Шац, думали, что Тимирязев – герой гражданских фронтов в должности комбрига.

Шац на время забросил обязанности управдома, которые обычно исправлял, ввиду затишья в художественной жизни города, и в четыре месяца отлил памятник. В первоначальном своем виде Тимирязев держал в руке кривую турецкую саблю. Только во время приема памятника комиссией выяснилось, что Тимирязев был человек партикулярный. Саблю заменили большой чугунной свеклой с длинным хвостиком, но грозная улыбка воина осталась. Заменить ее более штатским или ученым выражением оказалось технически невыполнимым. Так великий агроном и скакал по бывшей Соборной площади, разрывая шпорами бока своего коня.

Филюрин вынул бархатную тряпицу, смахнул пыль с ботинок и присел на каменный цоколь отдохнуть. Он просидел недвижимо минут десять, мысленно распределяя жалованье. Из тридцати пяти рублей, полученных сейчас Егором Карловичем за полмесяца в отделе благоустройства Пищ-Ка-Ха, рублей шесть оторвала секта похитителей членских взносов. Кроме того, предстояло неприятное объяснение с квартирохозяйкой, мадам Безлюдной.

Стук колотушки, донесшийся из-за угла, прервал печаль-

ные вычисления. Филюрин поднял чистое лицо и прислушался. Стук разросся, к нему присоединились еще трещеточные звуки и словно бы грохот падающей мебели.

На площадь въехал изобретатель Бабский верхом на деревянном велосипеде. Над толстым еловым рулем трепетала пыльная борода, похожая на детские штанишки. Заметив Филюрина, изобретатель сделал крутой вираж, намереваясь остановиться, но инерция тяжелого аппарата была так велика, что Бабскому пришлось с раскоряченными ногами описать два кольца вокруг статуи, пока велосипед не остановился.

– Скорее! – крикнул Бабский.

– Что скорее? – спросил Филюрин, недоумевающе моргнув светлыми ресницами.

Но было уже поздно. Остановившийся велосипед накрепился и рухнул на плиты, потащив за собою седока. Бабский вытащил ногу из-под шпагатной передачи и раздраженно обратился к Филюрину:

– Просил же я вас подержать мой бицикл! Я – прошу убедиться – еще не выучился им как следует управлять! Нужно еще усовершенствовать тормоз и свободное колесо.

Вдвоем они подняли велосипед, оказавшийся очень тяжелым, и прислонили его к одному из четырех фикусов, стоявших по углам цоколя.

Бабский обеими руками раздвинул свою бороду и захохотал. Ударяя ладонью по велосипеду, он убеждал Филюрина:

– Дешевка! Материалу идет на восемь рублей! Прошу убедиться – одно дерево! Сейчас еду за патентом. Бицикл Бабского! Каково?

– Из этого нужно сделать соответствующие оргвыводы! – восхищенно сказал Филюрин.

– Какие выводы?

– Выпить.

– Это всегда можно. Дайте только патент получить.

– Изобретатель должен угощать, – сказал Филюрин с убеждением.

На фоне идущего к закату солнца фигура Бабского рисовалась грязно-оранжевой глыбой. Это был рослый старик с жирными плечами и бородой, полной пороху и мусора. Утверждали, что из его бороды однажды выскочила мышка.

В каждом городе есть свой сумасшедший, которого жалуют и любят. Им даже немножко гордятся. Городской сумасшедший быстро проходит по бульвару, громко и косноязычно выкрикивая слова. Он с размаху открывает дверь кондитерской, но не успевает еще дойти до прилавка, как навстречу ему улыбающийся хозяин выносит на тарелочке миндальное пирожное. Сумасшедший хватается за пирожное и, крича, убегает. Его преследуют дети. Но взрослые относятся к городскому сумасшедшему с почтением. Они привыкли к нему. Он стал для них достопримечательностью, наравне с городским театром и деревянной торцовой мостовой на главной улице.

Есть в каждом городе и свой изобретатель. Его тоже жалуют, но не любят, а побаиваются. Мало ли что может вдруг сочинить городской изобретатель!

Бабский был одновременно городским сумасшедшим и городским изобретателем. Целыми днями он бродил по пищеславским учреждениям, предлагая изобретения и усовершенствования всякого рода. А ночью он работал в своей маленькой комнате, пыльное окно которой смотрело на Косвенную улицу. То слышалось оттуда гудение паяльной лампы, то взывала автомобильная сирена.

Бабский не брезговал ничем. Окончив опыты над автомобильной сиреной, он изобретал вакцину, которая при впрыскивании в голенища делала сапоги огнеупорными! Провалившись на вакцине, Бабский в течение суток ломал голову над тем, как бы приурочить раскаты грома к двухлетнему юбилею работы местного госцирка. Провалившись на громовых концертах, неутомимый изобретатель произвел на свет «перпетуум мобиле», сделанное из двухрублевых ходиков и мятого самовара емкостью в полтора ведра. Но и «перпетуум мобиле» не вышло. Тогда Бабский сварил опытный кусок мыла против веснушек. Он уже вышел на улицу, чтобы отнести мыло на пробу в аптечный подотдел, как его осенила мысль о постройке деревянного велосипеда. Изобретатель работал три дня, и из его рук вышел «бицикл Бабского». Все это время мыло лежало в левом кармане брюк, нагревалось и, никому не видимое, меняло свой яичный цвет на голубой.

– Скажите, Бабский, – спросил Филюрин, помогая изобретателю взобраться на кадку с фикусом, – изобретать – это трудно?

Бабский тяжело перелез с кадки на камышовое седло велосипеда и, кряхтя, ответил:

– Простейшее дело.

Раздался гром. Деревянная машина, вздрагивая, покати-лась по площади.

– Что это дает в месяц? – крикнул Филюрин вдогонку.

– Рублей шестьдеся-а-а-ат! – донеслось сквозь грохот.

Бицикл Бабского исчез в ослепляющей печи заката.

Филюрин хотел было продолжить путь к дому и сделал уже несколько шагов, когда под его ногами загрела металлическая коробочка. Филюрин поднял ее и повертел в руках. Коробочка была от зубного порошка, но внутри ее оказался кусок нежно-голубого мыла.

«Не иначе как Бабский выронил, – подумал Филюрин. – Интересно, сколько такое мыло может стоять?»

В неслужбное время мысль Филюрина работала довольно вяло. Всегда почему-то на ум ему взбредали одни и те же вопросы: сколько тот или иной предмет стоит, на сколько дешевле он продается за границей и как много зарабатывает собеседник. Только с барышнями он несколько оживлялся и вел беседы на волнующие темы – любовь и ревность. Но и с барышнями разговор ладился только до наступления сумерек, когда совместное сидение сводилось к лирическому

молчанию.

Голубое мыло навело Филюрина на мысль о бане. Вечером предстояла дружеская вечеринка с танцами и оргвыводами, т. е. пивом и водкой.

Филюрин покинул площадь и двинулся в Дворянские бани. По дороге он зашел домой, захватил полотенце и льняную рукавицу.

В Пищеславе средняя цена отдающейся внаем комнаты была восемь-девять рублей. Мадам Безлюдной Филюрин платил только четыре, так как мадам училась пению и ее фигуры сильно понижали стоимость комнаты. И сейчас мадам Безлюдная, оскалив золотые зубы, ревела в таком забвении, что Филюрину удалось проскочить через коридор, избежав объяснений по поводу квартплаты.

Филюрин давно не платил за квартиру. Он собирал деньги на костюм.

Он выбежал на улицу, радуясь тому, что уберег от золотозубой хозяйки четыре рубля, что сейчас он сможет опустить в банный ящик для жалоб какое-либо дельное заявление и, сбросив с себя двухнедельную грязь, отправиться на вечеринку, где его ждет беспримерное веселье в обществе сослуживцев из отдела благоустройства.

Последний широкий луч солнца лег на бритый затылок Филюрина.

Десятки тысяч людей с бритыми затылками и с такими же, как у Филюрина, чистенькими лицами и серенькими глазами

влачат обыденную жизнь, исправно ходят в баню, исправно платят членские взносы в профсоюз и не посещают общих собраний, добросовестно веселятся в обществе сослуживцев и ставят себе за правило не платить за квартиру; но не их избрала судьба, не им позволила история выдвинуться для дел больших и чудесных.

Дивный и закономерный раскинулся над страной служебный небосклон. Мириады мерцающих отделов звездным кушаком протянулись от края до края, и еще большие мириады подотделов, сияющие электрической пылью, легли как Млечный Путь. Финансовые туманности молочно светят и приманчиво мигают, привлекая к себе уповающие взоры. Хвостатыми кометами проносятся по небу комиссии. И тревожными августовскими ночами падают звезды – очевидно, сокращенные по штату. Иные из них, падающие метеоры, не успев сгореть и обратиться в пар, достигают суетной земли и шлепаются прямо на скамью подсудимых. Есть и блуждающие в командировках звезды, притягиваемые то одной, то другой звездной организацией, они носятся по небосклону, пока не погибают в хвосте какой-нибудь кометы с контрольными функциями.

Велико звездное небо отечественного аппарата и обширен выбор светил. Но для великих преобразований в городе Пище-славе судьба выбрала самую маленькую и неяркую звездочку, свет которой еще не дошел до Земли. Выбрала она Егора Карловича Филюрина – мандолиниста и неплательщи-

ка в жизни, а по службе скромного регистратора Пищ-Ка-Ха.

Войдя в баню, Филюрин еще не знал, что выйдет оттуда великим. Поэтому, выбрав угловой диванчик, Егор Карлович стал медленно раздеваться. Он распустил матерчатый поясok своей полутолстовки, снял вечный визиточный галстук с металлической машинкой, сорочку с пикейной рубчатой грудью и брюки, бренчавшие, как сбруя (Филюрин носил в карманах множество мелких железных кружочков, которые опускал в автоматы вместо гривенников).

Раздевшись догола, Филюрин долго поглаживал плечи и бока, остывая и с пренебрежением поглядывая на других голых. Знакомых в бане не было. Перекинув через плечо полотенце, Филюрин взял голубое мыло Бабского и вошел в мыльную.

В это время Бабский, подав заявление о патенте и торопливо объяснив собравшейся у входа в ГСНХ толпе преимущества елового бицикла перед металлическим, с шумом выкатил на проспект имени Лошади Пржевальского.

В этот сумеречный час между двумя рядами пепельных от пыли лип уже гуляли пищеславцы. Привыкшие к причудам городского изобретателя граждане провожали бицикл равнодушными взглядами.

Поворачивая на площадь, Бабский наехал на человека в белой косоворотке. Потерпевший покачнулся.

– А! Это вы, товарищ Лялин! – примирительно сказал Бабский. – Я как раз хотел сегодня заехать к вам в аптечный

подотдел.

– Опять изобрели что-нибудь? – проворчал товарищ Лялин, массируя ушибленное бедро.

– Изобрел, изобрел! Мыло от веснушек. «Веснулин Бабского»! Сейчас покажу. Весь город ахнет, прошу убедиться. Подержите бицикл.

Освободив руки, изобретатель стал рыться в карманах, ища «веснулин». Но ни в одном из всех четырнадцати карманов пиджачной тройки он не нашел металлической корбочки с мылом.

– Так вы мне завтра в подотдел занесите, – нетерпеливо сказал Лялин, – там и подработаем вопрос.

– Позвольте, позвольте, куда же оно могло деться, – суетился Бабский, – позвольте, где же я был? Наверно, в губсовнархозе оставил. Подождите здесь! Я сейчас приеду!

И Бабский, оттолкнувшись ногой от заведующего аптечным подотделом, покатил обратно по проспекту им. Лошади Пржевальского.

Пока Бабский ломился в закрытые двери ГСНХ, а потом, опечаленный потерей «веснулина», колесил по всему городу, наполняя его погремушечным стуком, Филюрин мылился.

Он окатился горячей водой из шайки, которой пришлось дожидаться довольно долго, зажмурил глаза и густо намылился. «Веснулин» Бабского издавал беспокойный скипидарный запах.

«Медицинское мыло, – с удовольствием подумал Филюрин, не раскрывая глаз и клекоча от наслаждения, – наверно, не меньше сорока копеек стоит».

Филюрин чувствовал, как тело его становится легким. От этого было приятно, и в голове происходил маленький сумбур. Мыслилось что-то такое очень хорошее, что-то вроде кругосветного путешествия за полтинник. И казалось Филюрину, что он исчезает и растворяется в банном тепле.

И, странное дело, милицейскому надзирателю Адамову, мывшемуся неподалеку и только что намылившему голову семейным мылом, показалось, что голова знакомого ему по участковым делам Филюрина исчезла и моется одно только туловище.

Адамов стал быстро промывать залепленные пеной глаза, а когда промыл, в углу, где только что стоял Филюрин, ничего не было. Только вились смутные локончики пара да раскатывалась по наклонному полу тяжелая шайка.

Милиционер Адамов был так удивлен происшедшим, что ему захотелось вытащить свисток и созвать на помощь дворников. Но свисток вместе со всей форменной упряжью остался в предбаннике. К тому же к освободившейся шайке уже подползали голые. Адамов не долго думая первым схватил шайку и предался дальнейшим банным удовольствиям. О Филюрине он сейчас же забыл.

Между тем Филюрин с закрытыми еще глазами подошел к крану и, зачерпнув в ладони холодной воды, умыл лицо.

То, что он увидел, или, вернее, то, чего он уже не увидел (а не увидел он многого: ни своих рук, ни ног, ни живота, ни плеч), ошеломило его. В страхе он побежал под душ. Он чувствовал, как под теплым дождиком слетело с него мыло, но тело продолжало отсутствовать.

Необыкновенный испуг вытолкнул Филюрина в предбанник. Филюрин подскочил к зеркалу. Себя он не увидел. Его не было. Он не отражался в зеркале. А между тем он стоял против зеркала и даже притронулся к нему рукой.

Но подумать о своем отчаянном положении Филюрин не успел. В зеркальном поле отразились две подозрительные фигуры. Они вошли в предбанник из передней и, увидев, что здесь никого нет, захватили ближайшую к ним стопку одежды и проворно выбежали.

– Стой! – закричал Филюрин, услышав знакомый звон своих брюк.

Голос его был прежний, филюринский.

В гневе он погнался за похитителями. Воры неслись к темным переулкам Нового города. За ними во весь дух бежал невидимый регистратор.

Произошло темное и удивительное событие. Двадцатилетний молодой человек, исправный служащий, отличавшийся завидным здоровьем, одновременно потерял все, что у него было: полутолстовку, визиточный галстук и тело. Осталось только то, в чем Филюрин до сих пор совершенно не нуждался. Осталась душа.

А город, еще ничего не подозревавший, жил обычной жизнью. В ночной тиши раздавались резкие звуки увертюры к опере «Кармен», исполняемой в клубе водников великорусским оркестром на семнадцати домрах.

Глава II «Воленс-неволенс»

До самого рассвета невидимый регистратор блуждал по переулкам, настолько отдаленным от центра, что их даже к 1928 году не успели переименовать. Воров он не настиг, да и погоня за гардеробом была уже бесцельной. Пробежав километров шесть, Филюрин сообразил, что призраку одежда не нужна. Однако впереди было худшее – в девять часов предстояло прибыть на службу.

Следствием этого явилось решение немедленно отправиться к Бабскому и требовать возвращения тела еще до начала занятий в отделе благоустройства.

Через двадцать минут изобретатель Бабский проснулся от холода. Окно было раскрыто, и утренний ветер сгонял в угол комнаты деревянные стружки, завившиеся колечками.

– Товарищ Бабский! – услышал изобретатель. – Товарищ Бабский!

Бабский выпрыгнул из постели и подбежал к окну. Улица была пуста и чиста. Холодная, оловянная роса поблескивала на деревьях.

– Хулиганы! – крикнул изобретатель, захлопывая окно. – Удивительное хулиганство!

– Товарищ Бабский, – услышал он за собой, – дело в том, что я был в бане...

Бабский сел на избрызганный подоконник и изумленно

оглядел комнату. В комнате никого не было.

– Кто был в бане? – тихо спросил он.

– Я, – ответил стул.

Тогда Бабский поднялся, на пуантах подкрался к стулу и, насторожив слух, с крайним любопытством спросил:

– Вы были в бане?

Но стул не ответил. За спиной изобретателя послышался застенчивый кашель и тот же голос с мольбой произнес:

– Я с этой стороны, товарищ Бабский. Дело в том, что меня не видно.

– Кого не видно? – раздраженно спросил Бабский.

– Меня, Филюрина.

– Позвольте, почему же вас не видно?

– Дело в том, что я был в бане, а теперь мне нужно к девяти часам прийти на службу, а меня не видно.

По мере того как Филюрин вяло и нерешительно выбалтывал подробности своего исчезновения, лицо изобретателя все светлело и оживлялось.

– Так вы говорите, намылились? – спросил изобретатель, дергая себя за бороду. – С научной стороны это весьма интересно!

– Вы же поймите, – убеждал Филюрин, – из-за вашего мыла я теперь не могу пойти на службу.

– А я тут при чем? Вы взяли мой «веснулин» без спроса, но черт с вами. Мне не жалко. Но ведь мыло действовало правильно? Веснушки исчезли?

– Веснушки исчезли, – искательно сказал невидимый, – но ведь и я тоже исчез, товарищ Бабский. Войдите также и в мое положение.

В комнате раздалось жалкое стенание.

– Черт его знает, – задумчиво произнес изобретатель, – я изобрел только мыло от веснушек...

– Скажите, может быть, вы можете сделать так, чтобы я опять сделался видимым?

– Так-с, – заметил Бабский, – надо подумать. Вы где сейчас, молодой человек? Если на стуле, то я сяду на кровать, а то вас раздавить недолго.

– Я стою.

– Ага. Ну, стойте. А я подумаю.

В течение получаса в комнате слышались только громкие междометия, которые пропускал сквозь бороду изобретатель.

– Уже без четверти семь, – канючил невидимый. – Не говоря о том, что я всю ночь не спал, я из-за вашего мыла еще опоздаю на службу.

Бабский встал, вытряхнул свою бороду обеими руками, как вытряхивают носильное платье, и решительно сказал:

– Не морочьте мне голову! Я с вами еще буду судиться за то, что вы стащили мое мыло. Я не могу в полчаса сделать такое серьезное изобретение, как возвращение человеческого тела. Я, может быть, и за пять лет не успею этого сделать.

Как видно, Филюрин пришел в сильнейшее волнение, по-

тому что упал стул и с верстака посыпались чурки – запасные части к бициклу.

– Пошел вон! – завопил Бабский. – Хулиган! Ну, вон отсюда! Окно само собою распахнулось, и уже с улицы донесся нудный голос невидимого:

– Я на вас в суд подам!

– Я тебе подам! Украл мыло и еще пристаает!

– Вы не имеете права, – хорохорилась пустынная улица, – ответите как за убийство!

– Ворюга! – дразнил городской сумасшедший, свешиваясь из окна. – Так тебе и надо!

Окно с треском захлопнулось. Бабский минут десять ходил по комнате успокаиваясь. Потом, придя к заключению, что «веснулин» приобрел свои удивительные свойства под влиянием брожения в железной коробочке, изобретатель зажег примус и немедленно же стал варить второй кусок «веснулина», восстанавливая по памяти его основные ингредиенты.

Потосковав у окна, прозрачный регистратор двинулся по Косвенной улице.

Город уже проснулся. Проехала клетка с наловленными за утро бродячими псами. Почуяв запах невидимого, население клетки залаяло и завизжало.

Час совслужащих приближался, а Егор Карлович все еще не знал, что предпринять. На Тимирязевской площади уже стоял знакомый госпапиросник. Так же, как и вчера, блистал

его стеклянный ларек, и жалобный ящик по-прежнему манил к себе усталого путника. Но все это было не для Филюрина.

Внезапно и скоропалительно переменялась вся жизнь регистратора, даже не переменялась, а, вернее, прекратилась. От него ушли: еда, питье, табак, любовь, движение по службе, возможность восхитить кого-нибудь своим нарядом или телом. Оставалось только одно – возможность мыслить. Но этим делом Филюрин никогда не занимался.

В страхе и удивлении очутился Филюрин перед большим, прибитым к двум столбам, железным плакатом. На плакате был изображен бегущий человек в такой же точно полутолстовке, какая еще вчера была на Егоре Карловиче. Он устремлялся вперед, держа в протянутой руке белый червонец. Под картиной была ликующая надпись:

КТО КУДА, А Я – В СБЕРКАССУ!

«А я куда? – горько подумал невидимый. – Куда я?»

Полный отчаяния, Егор Карлович бросился домой. Он подошел к окну своей квартиры и заглянул внутрь. Мадам Безлюдная сидела за пианино, тяжело роняя пухлые руки на клавиши. Из открытого рта безостановочно лился благовест. Златозубая мадам упражнялась в звуке «и».

– А я куда? – прошептал Филюрин. – Не идти же на службу в таком виде?

А между тем уже все шло и ехало на службу. Проехал в автомобиле заведующий отделом благоустройства Каин Александрович Доброгласов с сыновьями: Афанасием Каиновичем, работающим в отделе лиственных насаждений, и Павлом Каиновичем – из отдела сборов.

– Пойду, – решил Филюрин наконец, – ведь я же ни в чем не виноват! Я им все объясню. Пусть на комиссию пошлют. Пожалуйста!

Отдел благоустройства Пищ-Ка-Ха занимал пять комнат в двухэтажном особняке на Тысячной улице. В каждой комнате был большой камин, отделанный в мрамор. Так как каминов не топили, то в них содержались дела в папках, перевязанных шпагатом, и в раздувшихся скоросшивателях.

К тому времени, когда Каин Александрович прибыл в введенный ему отдел, все сотрудники были уже в сборе, и только стол регистрации земельных участков пустовал. Каин Александрович критическим взором окинул стол регистрации, потом взглянул на шестигранные стенные часы, сверил их со своими мозеровскими, затем сказал:

– Что, Филюрин болен?

Евсей Львович Иоаннопольский, делавший записи в главной книге и находившийся в эту минуту ближе всех к начальнику, заметил, что о болезни Филюрина как будто никаких сведений не имеется.

– Не знаю, – сказал Каин Александрович без всякого выражения, – за ним эти штуки не первый раз. Кажется, во-

ленс-неволенс, а я его уволенс.

Последние слова Доброгласов произнес с особенным вкусом.

Выражение это он услышал в 1923 году, когда Пищеслав посетило лицо, облеченное полномочиями по части садового благоустройства. И самое-то это выражение «воленс-неволенс, а я вас уволенс» было сказано ему, Каину Александровичу, за обнаруженные упущения. После этого Доброглаеов уверился, что лицо, посетившее город, есть лицо весьма важное и, возможно, даже историческое.

Когда гроза пронеслась, Каин Александрович решил увековечить момент пребывания гостя. Трамвайный вагон № 2, в котором посетитель проехался по городу, был снят с линии и помещен в музей благоустройства с мемориальной дощечкой: «В этом вагоне сентября 28 дня 1923 года тов. Обмишурин отбыл на вокзал». После этого исторического эксцесса в городе Пищеславе циркулировали только два трамвайных вагона, потому что всего их было три. Пищеславцы с ужасом думали о том, что Обмишурин еще раз может приехать с ревизией и тогда трамвайное движение прекратится навсегда.

Каин Александрович давно уже сидел в своем кабинете и макал перо в сторублевую бронзовую чернильницу «Лицом к деревне» (бревенчатая избушка с раскрывающейся дверцей и надписью, сделанной славянской вязью: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»), а Иоаннопольский никак не мог избавиться от гнетущего чувства.

Положение Иоаннопольского в отделе было шатким. Его могли выкинуть в любую минуту, хотя он служил верой и правдой уже восьмой год. Происходило это вследствие маниакальной идеи, засевшей в голове Каина Александровича. Два года тому назад в Пищеславе прошумел показательный процесс проворовавшегося управделами ПУМа Иванопольского. С тех пор Доброгласов остановился на мысли, что Иванопольский и Иоаннопольский – одно и то же лицо. При очередном сокращении штатов Каин Александрович неизменно требовал увольнения Иоаннопольского, подкрепляя свое требование криками:

– Зачем нам управделами ПУМа?

Как ни уверяли Доброгласова, что Иоаннопольский Евсей Львович ничего общего с Иванопольским Петром Калистратовичем не имеет, что, в то время как Петр Калистратович сидел на скамье подсудимых, Евсей Львович аккуратно являлся на службу в девять часов утра и что Иванопольский наконец приговорен к десяти годам и работает в канцелярии допра, – это действовало только временно.

При следующем сокращении Каин Александрович поднялся и с упреком спрашивал:

– Зачем нам Иванопольский? Зачем у нас служит управделами ПУМа? Его надо сократить в первую голову.

Доброгласову снова доказывали, какая пропасть отделяет заслуженного бухгалтера Иоаннопольского от известного всему городу жулика Иванопольского, но Каин Александрович

вич смотрел на объяснявшего белыми эмалированными глазами и говорил:

– Вы кончили, товарищ? Ну, а теперь вы мне скажите, зачем нам, я вас спрашиваю, управделами ПУМа? Зачем? Волненс-неволненс, а я его уволенс.

По всем этим причинам Евсей Львович не любил никаких волнений в отделе.

Впрочем, никто в отделе не любил волнений: ни Лидия Федоровна, немолодая девушка со считанными волосами кудрявой прически, ни самый молодой из служащих отдела – Костя, ни товарищ Пташников, пищеславский знахарь, числящийся в ведомости личного состава инструктором-обследователем.

Подобные Пташникову служащие водятся в каждом городе и даже в каждом учреждении. Это обычно недоучившиеся медики или родственники врачей, а то и просто любители поговорить на медицинские темы.

К ним-то и обращаются за советом служащие, глубоко убежденные в том, что врачи страхкасы лечат неправильно, не учитывая новейших достижений научной мысли. Общение же с частными врачами невозможно, так как частные врачи, по мнению служащих, спекулянты и связываться с ними не стоит. Полным доверием пользуются только профессора, но посещать их мешает бедность.

И все обращаются к собственному медику. Советы он дает охотно, денег за это не берет и, сияя отраженным светом

родственного или знакомого ему медицинского светила, отличается универсальностью в познаниях.

Пташников, сидевший за своим тонконогим столиком рядом со столом Филюрина, был прекрасным, знающим и совершенно бескорыстным учрежденским знахарем-колдуном. Особое уважение он внушал себе тем, что был двоюродным племянником известного в Ленинграде терапевта.

Как только Каин Александрович затих в своем кабинете, к Пташникову подошел еще не успокоившийся Евсей Львович.

– Ну, что? – спросил Пташников, останавливая бег своего пера и обратив к Иоаннопольскому круглое лицо. – Как адреналин?

– Впускал, как вы говорили. С носом у меня теперь все благополучно, но знаете что, Пташников...

Выслушав Иоаннопольского и рассмотрев мешки под его глазами, Пташников сказал:

– Лучше всего, конечно, обратиться к профессору. К Невструеву, например.

– А все-таки? – настаивал Евсей Львович.

– Не знаю. Мне кажется, что у вас отравление уриной.

На щеках Евсея Львовича проступил клубничный румянец.

– Неужели уриной?

– Видите ли, лучше всего вам все-таки обратиться к Невструеву. Может быть, это нервное.

– Тут станешь нервным, – заметил Иоаннопольский, поглядывая на дверь. – Что же вы все-таки думаете?

– Я думаю, что это все-таки отравление. Посоветуйтесь с Невструевым или, знаете что, сделайте сначала анализ. Может быть, у вас белочек.

Совершенно подавленный Евсей Львович отошел к своей конторке и, взобравшись на винтовой полированный табурет, стал разносить статьи по счетам главной книги.

– Что же с Филюриным? – спросили из угла. – Нужно кому-нибудь сесть на регистрацию. Там человека три уже ждет.

И действительно, у барьера, против стола Филюрина, стояло несколько человек, недовольно посматривавших по сторонам.

– Алколоиды, – сказал Пташников, усмехаясь, – просто выпил лишнее.

– Ничего подобного! – отозвался Костя. – Мы его вчера весь вечер ждали. Компания подобралась. Но он не пришел. Всю вечеринку нам сорвал. Мы хотели под мандолину танцевать.

Если бы Костя знал, во что превратился тот, кто еще до вчерашнего дня так ловко бряцал овальным медиатором, прижимая к животу круглый полосатый зад мандолины! Как далек был теперь от Филюрина вальс «Осенний сон», который он с великим трудом разучил по цифровой системе.

– Кстати, Пташников, – сказал Костя с тревогой, – я слепну.

– Да ну вас! – ответил инструктор-обследователь. – Вечно вы выдумываете какие-то болезни!

– Да ей-богу, я слепну. Уже три дня, как у меня в глазах плавают разноцветные мушки.

– Ладно. Дайте пульс, – на всякий случай сказал Пташников. – Что ж, пульс нормальный, хорошего наполнения. Ничего вы не слепнете. Пойдите лучше к Доброгласову и спросите, кого посадить на место Филюрина, а то люди ждут.

В это самое время невидимый регистратор, прозрачная сущность которого дрожала от страха, подымался по чугунной лестнице Пищ-Ка-Ха.

«Что скажет Каин Александрович?» – тоскливо думал невидимый.

Глава III «Кто куда, а я – в сберкассе!»

Приход невидимого на службу вызвал в отделе благоустройства необыкновенный переполох. Первое время ничего нельзя было разобрать. В общем шуме выделялся полновзвучный голос Каина Александровича и дрожащий тенорок Филюрина.

– Этого не может быть! – кричал Доброгласов.

– Ей-богу! – защищался Филюрин. – Спросите Бабского! Служащие бегали из комнаты в комнату с покрасневшими лицами и на все расспросы посетителей отвечали:

– Ну, чего вы лезете? Разве вы не видите, что делается? Приходите завтра.

Все приостановилось. Справок не давали, касса не работала, и в задней комнате потухал брошенный курьерами кипятильник «Титан». Было не до чаю.

– Это бюрократизм! – кричали ничего не понимавшие клиенты отдела благоустройства.

Впрочем, никто ничего не понимал.

У кабинета Доброгласова плотной кучей столпились служащие. В арьергарде топтался боязливый Иоаннопольский, беспрерывно шепча:

– Что? Что он сказал? Это Филюрин сказал? А Каин? Что

Каин ответил? С ума можно сойти. Что? Абсолютно не видно? Стул перевернул? А что Каин ему? Подумать только! Этого нигде в мире нету!

– Ну, нету! В Америке, наверно, есть и не такие!

– Как вам не стыдно это говорить. При чем тут Америка!

– Не мешайте! – шептал Евсей Львович. – Тише! Что он сказал? А Каин? Вы знаете, Каин не прав. Нельзя же так кричать на невинного человека. Впрочем, при его вспыльчивом характере...

В это время Каин Александрович заседал на растерявшегося невидимого.

– В конце концов это не дело администрации, а дело месткома. Робкий голос Филюрина стлался по самому полу. Может быть, он стоял на коленях.

– Я только об одном прошу – чтобы мое дело разобрали!

– Можно разбирать только дело живого человека. А вы где?

– Я здесь.

– Это бездоказательно! Я вас не вижу. Следовательно, к работе я вас допустить не могу. Обратитесь в страхкассу.

– Но ведь я же здоровый человек.

– Тем более. Воленс-неволенс, а я вас уволенс. Сотрудники переглянулись.

– Самодур, – прошептал Иоаннопольский. – Без согласования с месткомом!

– Да, да, Филюрин, – продолжал Каин Александрович, –

хватит с меня управделами ПУМа. Еще и невидимого держать. Берите бюллетень и идите. Идите, идите! Вы же видите, что я занят!

– Меня убили! – закричал невидимый. – У меня украли тело!

– Раз вас убили, страхкасса обязана выдать вам на погребение!

– Какое может быть погребение живого человека!

– Это парадокс, товарищ, – ответил Каин Александрович. – В отделе благоустройства не место заниматься парадоксами, а место заниматься текущей работой. Как решит РКК, так и будет. Вы ушли?

Ответа не было. Испугавшись слова «парадокс», Филюрин покинул кабинет и очутился среди сотрудников.

Сотрудники сначала рассыпались в стороны, крича изо всей силы: «Где вы, где вы?»

– Здесь, у арифмометра. Вот я поднял пресс-папье, а Каин говорит, что я не существую. Я в состоянии работать.

После пугливых расспросов и столь же пугливых ответов невидимого, служащие уяснили, что Филюрин в еде не нуждается, холода не испытывает, хотя и исчез, будучи голым, что тело свое ощущает, но, как видно, его все-таки нет, и чем он только что поднял пресс-папье, он и сам не знает.

– Прямо анекдот! – повторял невидимый.

Но событие было настолько поразительным, что общей темы для разговора не нашлось. Стало скучновато.

– Ну, что новенького в отделе? – спросил Прозрачный, хотя за последний год единственной новостью было его собственное исчезновение.

– Ничего, – ответил Иоаннопольский, – говорят, новая тарифная сетка будет.

– Три года говорят, – слышался из-за арифмометра безнадёжный ответ невидимого.

– Да.

– Вы знаете, меня еще и обокрали! Ей-богу! Все чисто украли.

– А вы заявили в милицию?

– Да зачем заявлять? Ведь мне-то уже не нужно! – с горечью произнес голос регистратора.

– Это вы напрасно, Егор Карлович. Если все так будут относиться, то такой бандитизм разовьется!

Филюрин осмотрелся. Все было прежнее, давно известное, еще вчера надоедавшее, а сегодня бесконечно милое и невозвратимое – счеты с костяшками пальмового дерева, черный дыропробиватель, линейки с острыми латунными ребрами и толстая, чудесная книга регистрации.

– Как же все это произошло? – спросил Евсей Львович. – Расскажите подробно.

Филюрин повторил все, что он рассказывал уже Доброгласову. И так как сотрудники все это слышали, стоя у дверей кабинета, рассказ показался им не таким уже удивительным.

– Бывает, бывает, – сказал инкассатор, – на свете, пусть

люди как ни говорят, но есть много непонятного. Моя бабушка перед смертью три гроба видела.

– Это бабьи разговоры! – сказал невидимый.

– Нет, нет, – закричал инкассатор. – Это не пустяк. Наперерыв стали рассказывать всякие таинственные истории: о гробах, призраках и путешествующих мертвецах.

– Выходит, что и я призрак, – усмехнулся Филюрин. Но его не услышали.

Инкассатор рассказывал историю загадочного появления покойного дяди одного своего приятеля.

– ...Они открывают окно, а за окном никого нет. Между тем все ясно слышали, что кто-то постучал. Сам я этого не видел, но приятель видел собственными глазами.

Между тем Лидия Федоровна, давно уже с опасением поглядывавшая на двери кабинета Доброгласова, подобралась к арифмометру.

– Вы еще здесь, Егор Карлович? – спросила она.

– Здесь.

– Простите, пожалуйста, мне к арифмометру нужно. Пардон! Оттеснив невидимого, Лидия Федоровна деловито завертела ручку. Арифмометр заскрежетал. Евсей Львович сел за главную книгу. Потянулись за свои столы и все остальные. О невидимом начинали забывать.

– Скажите, – обратился Филюрин к инкассатору, – вы давно купили эту сорочку? Хорошая сорочка. Сколько вы за нее дали?

Ответа невидимый не получил, так как инкассатор умчался по своим делам.

– Егор Карлович? – спросил Пташников. – Я вам, кстати, хотел посоветовать обратиться к Невструеву. Вполне знающий терапевт.

– Зачем же обращаться? – тупо спросил Филюрин.

– Может быть, это у вас на нервной почве? Вам, наверно, нужна электризация. Токи Дарсонваля. Замечательная вещь. Или, знаете что, попробуйте водолечение. Температуру вы меряли?

– Где там мерять! – сказал Филюрин грустно. – Пойду я в местком.

В маленькой комнате месткома, главным украшением которой являлся щит с прикрепленными к нему частями винтовки и надписью «Умей стрелять метко», сидели любопытные из всех отделов Пищ-Ка-Ха.

– Меня не имеют права уволить! – раздался голос Филюрина. – Я трудоспособности не потерял!..

Присутствующие загомонили. Самолюбие невидимого временно было удовлетворено. Здесь его история принималась к сердцу чрезвычайно близко. Здесь он еще мог удивлять. Он приподымал чернильницу, показывая, где он находится, объяснял детали нового своего быта и уже с некоторым опытом рассказал, что тело свое он ощущает, но, как видно, тела все-таки нет, и чем он, Филюрин, поднял только что чернильницу, он и сам не знает.

– Кроме того, меня обокрали, – закончил невидимый свой удивительный рассказ. – Ей-богу! Все начисто уперли.

– Так вы подайте в кассу взаимопомощи, – сказал председатель месткома, – в таких случаях она может выдать даже безвозвратную ссуду. Пишите заявление.

Но тут председатель осекся и потрогал руками прическу.

– Впрочем, вам деньги не нужны. Не к чему. Есть-пить вам не надо, да и платья не на что надеть. Так в чем же ваш конфликт с администрацией? Согласно правил внутреннего распорядка уволить вас не могут. Есть пункт «г», но он к вам не подходит – обнаружившаяся непригодность к работе.

– Работать я могу! – воскликнул невидимый.

– Но зачем же вам работать! Раз пить-есть вам не надо, мы дадим лучше на ваше место многосемейного безработного...

– Как!! – завопил невидимый. – С какой стати меня на биржу посылать! Я вылечусь. Я к профессору Невструеву пойду. Он знающий терапевт. Я стану видимым. Извините, товарищи! Меня нельзя уволить! Где же это такой закон, чтоб невидимых увольнять. Пункт «г» не подходит. А других пунктов подходящих нет.

– Что ж, это верно, – сказал председатель. – Этот вопрос надо заострить.

– А куда он деньги станет класть? – спросил из толпы завистливый Павел Каинович, пришедший полюбоваться на диковинного подчиненного своего папаша.

– Хоть псу под хвост! – грубо ответил невидимый. – Прин-

ципиально! Это месткома не касается. Могу класть в банк. Кто куда, а я – в сберкассу. Мое дело!

– Формально будем защищать, – сказал председатель. – Попроси-ка, Костя, сюда товарища Доброгласова на заседание РКК. Будем филюринское дело разбирать.

– Нет, это прямо безобразие какое-то, – заметил Филюрин, – взять и уволить сотрудника ни за что. Будто невидимый уже и не человек. Возмутительно!

Собравшиеся молчали. Они начинали завидовать невидимому. Как же! Ему не нужно производить никаких расходов. А жалованье идет полностью, как всякому.

– Сколько же такой невидимый может прожить? – спросил курьер Юсюпов, давно уже производивший в уме какие-то вычисления.

– Неизвестно, – злобно ответил загадочный регистратор.

– Может, такой невидимый и не умирает вовсе? – продолжал Юсюпов.

– И наверно даже я буду жить вечно.

Глаза председателя месткома сразу потеряли свой буднич- ный блеск.

– Ты тут потише насчет вечности. Одурел от невидимости. Ты смотри, как бы тебя за такие слова из союза не выкинули.

– А возможно, что и будет жить вечно! – завздохал Юсюпов.

– Тебе, курьер, завидно! – огрызнулся Филюрин.

– Мне не завидно, а только лет за двести, товарищ Фи-

люрин, можешь большой капитал составить. Вроде как Циндель станешь.

Тут в голове председателя месткома, незаметно для присутствующих, родилась блестящая идея. И он сказал, обративши взор повыше чернильницы:

– Слушай, Филюрин, а тебе и на самом деле деньги не нужны. Ты свою зарплату жертвуй в Осоавиахим. А?

Послышалось страшное сопение. По комнате пронесся небольшой ураган.

– Что вы все на меня навалились? Сколько все сотрудники платят, столько и я буду платить.

– Скряга ты, Филюрин, – произнес председатель, – невидимый должен проявить большую активность. Ну, черт с тобой, защищать тебя рабочая часть РКК все-таки будет.

В эту минуту, спугнув лодырничавших сотрудников, в комнату вошел Каин Александрович.

– Товарищи посторонние! – провозгласил председатель. – Прошу очистить помещение. Сейчас будет открытое заседание РКК.

Комната мигом обезлюдела.

Против председателя и Юсюпова, представлявших рабочую часть РКК, уселся управделами. Каин Александрович сел у стены, подложив под спину портфель, чтобы не измарать пиджак. Над головой его жирно блестели винтовочные части.

– А этот уже есть? – спросил Каин Александрович, сделав

рукой неопределенное движение.

– Он тут. Ну, товарищи, как же быть с Филюриным? Юсюпов, веди протокол.

Каин Александрович убоился конфликта и согласился признать Филюрина живым и дееспособным, выговорив себе двухнедельный испытательный срок, после которого вопрос о невидимом снова должен был стать предметом официального обсуждения.

В конце заседания, происходившего довольно мирно, Каин Александрович вдруг воспламенился.

– Хорошо! Пусть невидимый остается, хотя ни в одном учреждении нет невидимых служащих. Я согласен. Но зачем нам, товарищи, управделами ПУМа Ивановпольский? Не понимаю?

– Каин Александрович, но ведь вопрос об Иоаннопольском прорабатывался не раз, и мы уже сами выявили, что наш Иоаннопольский совсем не тот.

– Нет, – сказал Доброгласов, – я буду просить начальника Пищ-Ка-Ха бросить меня на другую работу. Я не могу отвечать за благоустройство города, когда в отделе работают какие-то невидимые и управделами ПУМа. Я не могу работать с привидениями. Это мистика. Я требую жертв.

– Что же вы хотите? – спросил председатель месткома.

– Я требую жертв, – повторил Каин Александрович. – Я не могу делать из благоустройства бедлам. Воленс-неволенс...

И уже кроткий Евсей Львович, связанный по рукам и но-

гам, был возложен на жертвенник, уже была занесена над ним вооруженная автоматической ручкой десница Доброгласова, когда подняла свой голос рабочая часть. Она не хотела жертв.

Однако на этот раз разозленный Каин Александрович показал алмазную твердость. Пришлось создать конфликт, и дело о мнимом управделами ПУМа пошло в примирительную камеру.

– Так вы, Филюрин, допускаетесь к исполнению обязанностей. Можете идти работать.

Вслед за этим, впервые в истории учреждений города Пищеслава, со стола скромного регистратора Филюрина ручка сама собой поднялась на воздух, наклонилась под должным углом и вписала в развернутую книгу регистрации земельных участков самую обыденную деловую запись.

Посетители отдела благоустройства, давно забывшие детскую сказку о шапке-невидимке, не читавшие Уэльса и не знавшие еще об удивительном случае с «веснулином» Бабского, первое время обмирали и даже опускали негодующие заявления в огромный жалобный ящик Пищ-Ка-Ха, но потом, занятые своими делами, привыкли и находили, что невидимый Филюрин работает гораздо быстрее Филюрина видимого и что душа регистратора гораздо вежливее, чем была его земная оболочка.

Пищеславцы успокоились, называли Филюрина «товарищ Прозрачный» и даже слегка над ним подтрунивали.

А сам прозрачный тосковал безмерно. Сперва ему нравилось то удивление, которое он вызывал в окружающих. Он любил рассказывать с мельчайшими подробностями о том, как он пошел в баню, как мылся там необыкновенным голубым мылом, как исчез и как гнался за ворами. Но все это продолжалось лишь два дня. Не находилось больше охотников слушать рассказы о том, как буквально, в точном смысле этого слова, смылся регистратор.

Это обстоятельство повлияло также на судьбу единственного свидетеля исчезновения Филюрина. Милиционер Адамов тоже не находил больше слушателей, от скуки запил и был отправлен в антиалкогольный диспансер, где его лечили гипнозом и холодной водой.

О Бабском ничего не было слышно. Он сидел, запершись, у себя, на Косвенной улице, и примус его, как потом рассказывали, не потухал ни днем, ни ночью.

Прозрачный тосковал. Все удовольствия были ему уже недоступны. Только и было ему удовольствия, что одиноко поиграть на мандолине, прижимая ее зад к своему несуществующему животу.

Тогда-то и произошло замечательное событие, перевернувшее Пищеслав вверх дном и вознесшее Егора Карловича Филюрина на головокружительную высоту.

Глава IV История города Пищеслава

Сказать правду, Пищеслав был городом ужасным. Больше того. Свежий человек, попав в него, подумал бы, что это город фантастический. Никак свежий человек не смог бы себе представить, что все увиденное им происходит наяву, а не во сне, странном и утомительном.

Еще недавно Пищеслав носил короткое, незначашее название – Кукуев. Переименование города было вызвано экстраординарным изобретением Бабского. Неутомимый мыслитель изобрел машинку для изготовления пельменей.

Продукция машинки была неслыханная – три миллиона пельменей в час, причем конструкция ее была такова, что она могла работать только в полную силу.

Машинку изобретатель назвал «скоропищ» Бабского.

В порыве восторга Бабскому оказали честь, переименовав Кукуев в Пищеслав. Раскрылись обаятельные, отливающие молочным цветом червонцев, перспективы. Предвиделся расцвет пельменной промышленности в городе, бывшем доселе только административным центром.

В первый же день два «скоропища», работая в три смены, изготовили сто сорок четыре миллиона пельменей. На другой – работа прекратилась, потому что запасы муки и мяса

истожились. Штабеля пельменей лежали на улицах Пищеслава, но, к удивлению акционерного общества «Пельменсбыт», образовавшегося для эксплуатации изобретения Бабского, спрос на пельмени, при всей их дешевизне, не превысил пяти тысяч штук.

Перевозить пельмени в другие города на продажу было невозможно из-за жаркого летнего времени.

Пельмени стали разлагаться. Запах гниющего фарша душил город.

Начался переполох. Обнаружился существенный недостаток изобретения Бабского. «Скоропищ» нельзя было приручить и приспособить к скромным потребностям населения. Оказалось, что меньше трех миллионов пельменей в час машинка выпускать не может.

Добровольные дружины в ударном порядке вывозили скисший продукт за город, на свалку.

Когда обратились за разъяснением к Бабскому, он, конструировавший уже станок для массового изготовления лучин, ворчливо ответил:

– Не морочьте мне голову! Если «скоропищ» усовершенствовать, то усилить продукцию до пяти миллионов в час возможно. А меньше трех миллионов, прошу убедиться, нельзя.

Тогда Бабского посадили на полгода в тюрьму, но уже через неделю городской изобретатель стал произносить неопределенные угрозы, говорил про какой-то антитюрем-

ный эликсир, и его выпустили.

Возвратить городу прежнее имя было совестно. Так он и остался Пищеславом.

С какой бы стороны ни подъезжал к Пищеславу путник, взору его представлялось огромное здание, привлекательно и заманчиво высившееся над всем городом. Это был объединенный центральный клуб – здание, по величине своей немногим только меньшее, чем московский Большой оперный театр.

Клуб помещался в лучшей части города – между шоколадным особняком РКИ и бело-розовым ампирным зданием уголовного розыска.

Клуб был построен очень прочно, добротнo и отличался невиданной еще в Пищеславе красотой всех своих четырех фасадов. Но не было в нем ни концертов, ни лекций, ни театральных представлений, ни шахматных игр, ни кружковой работы. Огромное здание, бросавшее тень на добрую половину Пищеслава, совершенно не посещалось гражданами.

Изредка только из колоссального здания клуба выходил человек в толстовочке – комендант – и, жмурясь от солнца, плелся в клуб уголовного розыска поиграть в шашки и на полчаса приобщиться к культурной жизни.

Что же случилось? Почему ни одна душа не посещала клуба? Почему никто не играл там в политфанты и профлото, почему не было увлекательнейших вечеров вопросов и ответов? Почему всего этого не было, хотя здание нравилось

всем без исключения пищеславцам?

При постройке здания строителями была допущена ошибка. Мы должны открыть всю правду.

В здании была только одна маленькая, совсем темная комната, площадью в семь квадратных метров. Вся остальная неизмеримая площадь была занята большими и малыми колоннами всех ордеров – дорического, ионического и коринфского.

Колоннады аспидного цвета пересекали здание вдоль и поперек, окружали его со всех сторон каким-то удивительным частоколом. Внутри здания тоже были только колонны. И в этом колоннадном лесу чахнул от безлюдья комендант в толстовочке. Пищеславцы, боясь заблудиться в колоннах и не находя комнат, в которых можно было бы послушать лекцию, предпочитали любоваться диковинным клубом извне.

В клубе не было даже уборной. Комендант, кляня архитекторов и стучаясь лбом о колонны, за каждой малостью бежал во двор РКИ. Впрочем, не все были такими щепетильными, как комендант. Колоннады, портики и перистили быстро загрязнились, и запах, схожий с запахом сыра-бакштейн, изливался сквозь колонны на площадь.

Никто не решался первым сознаться в том, что в новом клубе слишком много архитектурных украшений и совсем нет полезной площади. Клубом продолжали гордиться. И каждые похороны (пищеславцы их очень любили и праздновали с особенным умением и пышностью) неизменно оста-

навливались у гранитной паперти объединенного клуба, где отслуживалась гражданская панихида.

Промышленности в городе не было никакой, да и не могло быть, потому что пищеславские недра не таили в себе ни руд, ни минералов. По географическому положению Пищеслав, стоявший на несудоходной реке Тихоструйке и отдаленный на сорок пять верст от вокзала, никакой промышленности иметь и не мог.

Тем не менее пищеславцы отправили в центр ходоков с просьбой разрешить им пустить в ход потухший пятьдесят лет тому назад завод, который во время крымской кампании производил для нужд армии трубы и барабаны. Центр в средствах отказал.

Тогда пищеславцы, выкроив из чахлого бюджета полтора-два тысяч рублей, взялись за дело сами. Через два года напряженной работы завод был восстановлен, и его толстая башенная труба с зубцами зачала.

Кооперативные прилавки не смогли вместить всей заводской продукции. Пришлось предоставить кредиты на постройку двух универсальных магазинов, предназначенных исключительно для продажи труб и барабанов.

Неизвестно почему, но трубы и барабаны пользовались у потребителей большим успехом.

Комплекты труб и барабанов появились в каждой семье. Выспавшиеся после обеда граждане с увлечением били в барабаны.

Но вскоре эта музыка приелась. Пошли новые культурные веяния. В местной газете «Пищеславский Пахарь» поднялась дискуссия по поводу того, можно ли внедрить в служилую массу классическую музыку с помощью граммофона.

Для популяризации этой идеи в городском театре состоялся конкурс на лучшего граммофониста. Первым призом был объявлен почти новый патефон с восемью пластинками фирмы «Пишущий Амур». Вторым призом явилась живая, яйценосная курица Минорка, а в третий приз давался сборник статей по ирригации Кара-Кумской пустыни.

Конкурс мог похвастаться успехом. Множество людей притащилось в театр с разноцветными рупорами, пластинками и шкатулками. Конкурс, открывшийся большим докладом, продолжался три дня. Три дня со сцены городского театра, где состязались граммофоны, неся щенячий визг и хохот. Как-то так случилось, что почти все пластинки были напеты музыкальными клоунами Бим-Бом. Это очень веселило публику, но комиссия, не признав за этими произведениями общественного значения, присудила:

первый приз – сыну безлошадного крестьянина, Окоемову, за мастерское исполнение музыкальной картины «Мельница в лесу» с подражанием кукушке и мельничным стукам, под управлением капельмейстера Модлинского пехотного полка Черняка;

второй приз – сыну бедного фельдшера Гордиеву, прекрасно исполнившему марш Буланже на тубофоне в сопро-

вождении оркестра акц. о-ва «Граммофон»;

третий приз – сыну мелкого служащего Иоаннопольскому, за пластинку «Дитя, не тянися весною за розой, розу и летом сорвешь», напетую любимцем публики, популярным исполнителем оригинальных романсов Сабининым под собственный аккомпанемент на рояле.

Трудно поверить в существование такого города, как Пищеслав, но он все-таки существовал и отмахнуться от этого было невозможно.

Вокруг города цвели травы, возделывались поля, ветер гулял в рощах, а в самом городе даже растительность была дикая.

В городе часто случались скандальные происшествия.

В слободской больнице служащему трампарка Господову при операции брюшной полости по ошибке зашили в живот больничный будильник, заведенный двухмесячным заводом на пять часов утра. Скандал начался с увольнения сиделки, обвиненной в краже будильника. Затем поступило заявление больного Господова о том, что в животе его слышится противный звон.

Сиделку реабилитировали, но извлечь будильник из живота Господова побоялись. Новая операция угрожала бы его жизни. Через неделю Господов выписался из больницы и вскоре подал в суд. А жаловался обиженный Господов на то, что будильник звонит не вовремя.

– Пусть себе сидит в животе. Я ничего не имею. Но пусть

не звонит в пять часов утра, когда мне на работу идти только в восемь. Мне ж спать невозможно.

Инцидент закончился мирно. Судопроизводство еще и не начиналось, когда истец взял свое заявление обратно. Завод будильника иссяк, и Господов в простоте душевной полагал, что дальнейшие претензии будут неосновательны.

Происшествию с Господовым «Пищеславский Пахарь» не мог уделить много места, потому что четыре его скромные полосы заняты были полемическими письмами в редакцию двух враждовавших между собою литературных групп – крестьянской группы «Чересседельник» и городской – ПАКС (Пищеславская ассоциация культурных строителей).

«Многоуважаемый товарищ редактор! – писал „Чересседельник“, – не откажите в любезности поместить на страницах, вашей газеты нижеследующее:

«Литературная группа „Чересседельник“, закончив организационный период, с 1 июля приступает к творческой работе. Этой работе мешают демагогические выступления беспочвенных политиканов, давно исключенных из „Чересседельника“ за склочничество и ныне выступающих под флагом литгруппы ПАКС»...

Далее шли печальные сообщения о склочниках из ПАКСа. Подписи под письмом занимали два столбца.

Рядом неизменно бывало заверстано длинейшее письмо ПАКСа, подписи под которым были так многочисленны, что конец их терялся где-то в отделе объявлений.

«Многоуважаемый товарищ редактор! – писала ПАКС. – Не откажите в любезности поместить на страницах вашей газеты нижеследующее:

«Литературная группа ПАКС, закончив организационный период, с двенадцати часов завтрашнего дня приступает к творческой работе. Этой работе мешают демагогические выступления оголтелой кучки зарвавшихся политиканов, давно выжженных из ПАКСа каленым железом, а ныне приютившихся под крылышком мелкобуржуазной литгруппы „Чересседельник“...»

Письма с каждым днем становились все длиннее и нудней, а плодов творческой работы все не было видно.

Так текла жизнь города, вплоть до того знаменательного вечера, когда невидимый регистратор в тоске забрел в центральный объединенный клуб.

Углубившись в проход между колоннами, Прозрачный с большим трудом нашел единственную клубную комнату, где жил сам комендант. Несмотря на маленькую свою площадь, комната была высока, как шахта. Потолок ее скрывался во мраке, рассеять который была бессильна маленькая керосиновая лампа, висевшая на крючке у столика.

Отвести душу было не с кем. Комендант ушел ночевать к знакомым, а может быть, и просто сбежал, затосковав по обществу. В комнате, кроме стола, стояли козлы с нечистым матрасом и большой фанерный щит на подпорках, с надписью «Календарь клубных занятий». В углу лежала груда га-

зетных комплектов в огромных рыжих переплетах.

На дворе стоял июль, а в объединенном клубе было холодно, как в винном погребе.

Прозрачный протяжно выбранился. Если бы он умел говорить умные слова, то побежал бы на площадь, созвал бы побольше народу и поведал бы ему, как тяжело жить бестелесному человеку, который не может придумать ничего такого, что оправдало бы его необычное существование. Но говорить красиво и удивительно он не умел.

Прозрачный рассеянно направился в угол, вытащил оттуда газетную книжищу и нехотя углубился в чтение. Не читал он с тех пор, как кончил городское училище. Это было давно, очень давно.

Ощущения читающего человека были ему чужды. Поэтому чтение произвело на Прозрачного такое же впечатление, какое испытывает курильщик, затянувшийся папиросой после трехдневного перерыва. Прозрачному попалась московская газета.

«Первый Госцирк! – прочел Филюрин вслух. – Последние пять дней. Укрощение двенадцати диких львов на арене под управлением Зайлер Жансо».

Прозрачный стал думать о львах. Потом от объявлений он перешел к более трудным вещам – к котировке фондового отдела при московской товарной бирже. Но это было слишком мудрено, не под силу. Филюрин бросил котировку и перекочевал в отдел суда. Ему попалось на глаза про-

стое алиментное дело, которое для настоящего любителя суда не представляет ни малейшего интереса. Невидимый, однако же, прочел его с необыкновенным волнением.

– Ну и люди теперь пошли! – воскликнул Прозрачный, впервые постигая возможность критики отношений между мужчиной и женщиной.

Он прочел еще несколько судебных отчетов и с удивлением убедился в том, что в стране существует по крайней мере пятнадцать отпетых негодяев.

– Ни стыда, ни совести у людей нет, – шептал Прозрачный, переворачивая большие листы.

С каждым новым номером газеты количество негодяев увеличивалось. Через два часа Прозрачный решил выйти на площадь, чтобы собраться с возникшими при чтении мыслями.

– Действительно, – бормотал он, проплывая между колоннами, – безобразия творятся.

Самые дерзкие параллели возникали в мыслях Прозрачного. Вспоминая последнее прочитанное дело о бюрократизме фрукт-работников, он пришел к страшному выводу, который не осмелился бы сделать даже вчера. «Каин Александрович, – думал он, – тоже, как видно, бюрократ и бездушный формалист».

Думая таким образом, он мчался вперед. Колонны мелькали. Им не было конца. Они вырастали чем дальше, тем гуще. Выхода не было. Прозрачный заблудился в колонном

бору, воздвигнутом усилиями пищеславских строителей.

Это происшествие придало мыслям Филюрина новый жар.

– Тоже построили! – закричал он в негодовании. – Входа-выхода нет. Под суд таких!

И громкое эхо, похожее на крик целой роты, здоровающейся с командиром, вырвалось из-под портиков и колоннад:

– Под суд!

Проплутав еще некоторое время, Прозрачный очень обрадовался, попав обратно в комнату коменданта, и снова принялся за чтение.

Лампочка посылала бледно-желтой слабый свет на гранитную облицовку стен. Газетные листы сами собою переворачивались. Комплекты с шумом летели в угол и снова выскакивали оттуда.

В пустой комнате раздавались отрывочные восклицания:

– Нет! Это никак невозможно! Уволить женщину на восьмом месяце беременности! А Каин в прошлом году такую самую штуку проделал! Ну и дела!

Глава V Юбилейная речь

В эту ночь Евсей Львович Иоаннопольский спал и видел во сне семь управделами тучных и семь управделами тощих. Сон оказался в руку.

Когда Евсей явился утром на службу, ему сообщили, что семь дней местком боролся за него удачно, а последующие семь дней – неудачно и что примкамера, подавленная красноречием Доброгласова, решила дело в пользу администрации.

– Но ведь я же все-таки в ПУМе не служил! – закричал Евсей Львович, скорбно оглядев сотоварищей по отделу. – Все же знают! Я на этого самодура буду жаловаться в суд!

Свободомыслие бухгалтера не встретило поддержки. Евсей Львович понял, что дело гораздо серьезнее, чем он предполагал, вынул из конторки собственную чайную ложечку и спросил:

– Кто же сядет на главную книгу?

– Назначили Авеля Александровича, – ответил Пташников, – он уже утвержден.

– Конечно, – сказал Иоаннопольский.

Он чувствовал, что ему нечего терять, кроме собственных цепей.

– Протекционизм! Брата назначил! Сыновья давно служат! А я? Я, конечно, остался с пиковым носом.

Иоаннопольский печальным аллюром двинулся к Пташникову. Учрежденский знахарь сделал вид, что поглощен работой.

– Я сделал анализ, – сказал Иоаннопольский. Пташников, к удивлению бухгалтера, ничего не ответил.

– Я уже сделал анализ, – глухо повторил Евсей Львович.

– У вас достаточное количество красных кровяных шариков, – с неудовольствием произнес знахарь, – и, знаете, неудобно как-то в служебное время...

– Может быть, мне действительно посоветоваться с профессором Невструевым? – лепетал Евсей, пытаясь вдохнуть жизнь в трусливую душу Пташникова.

Но в это время из кабинета раздался голос Каина Александровича, и знахарь испуганно зашикал на Иоаннопольского.

– Вы хотите, чтобы меня тоже выкинули? – сказал он, глядя на бухгалтера молящими глазами.

Тут Евсей Львович понял, что он уже чужой. Он в раздумье постоял посередине комнаты и подошел к столу Филюрина.

Ручка и книга регистрации земельных участков в пестром переплете недвижимо лежали на столе. Кто знает, где в это время был Филюрин? Может быть, он отдыхал, равнодушно озирая лепной потолок; может быть, гулял по коридору или стоял за спиной Евсея Львовича, иронически усмехаясь.

– Вы слышали, Филюрин? Меня Каин все-таки уволил. Ответа не последовало.

– Вы здесь, Егор Карлович?

Но молчание не прерывалось, и книга по-прежнему оставалась закрытой.

Иоаннопольский повернулся и спросил, ни к кому не обращаясь:

– Что, Филюрин еще не приходил?

– Не приходил, – ответила Лидия Федоровна. – Смотрю, ручка не подымается.

– Может быть, он заболел? – живо отозвался Пташников.

– А разве невидимые болеют?

– Все может быть. Теперь такая дизентерия пошла.

– Но ведь он же ничего не ест!

– Тогда, может быть, на нервной почве? – ядовито сказал Евсей Львович.

– Какие там нервы! У человека тела нет, а вы толкуете про нервы.

Разгорелся спор, блестяще разрешенный Пташниковым. В пространным резюме, в котором не раз упоминался ленинградский дядя-терапевт и последние открытия в области лечения простоквашей, учрежденский знахарь пришел к несомненному выводу, что невидимый болеть все-таки не может.

Поэтому решили послать за Филюриным курьера Юсюпова. Евсей Львович взялся сопровождать курьера.

С полуденного неба лился белый горячий свет. В витринах оптического магазина акционерного общества со смешанным капиталом Тригер и Брак, на ступенчатой под-

ставке, покрытой красным сатином, стояли ряды отрубленных восковых голов. На носу каждой головы сидели очки и пенсне разных размеров и форм. Все выставленные барометры показывали бурю.

Мальчики лакомились сахарным мороженым, поедая его костяными ложечками из синих граненых рюмок.

На базарной площади вопили поросята в мешках и гуси в корзинках, зашитые рогожей по самые шеи. Летала солома.

Большие мухи в зеленых бальных нарядах с пропеллерным гудением падали в корзины с черной гниющей черешней, сталкивались в воздухе и совершали небольшие марьяжные путешествия.

Всю дорогу Евсей Львович клеймил Юсюпова за то, что РКК оказалась не на высоте. Юсюпов со всем соглашался и советовал обратиться прямо в суд.

Разговаривая таким образом и руководствуясь звуками «о», доносившимися из окна первого этажа, они быстро нашли квартиру мадам Безлюдной.

Златозубая хозяйка пожалала плечами и ввела гостей в комнату Филюрина. Там все трое долго и громко звали Прозрачного. Ответа не было.

– Куда же он, однако, девался, мадам? – спросил Евсей Львович удивленно.

– Понятия не имею, – ответила мадам, выставив золотой пояс зубов. – Как вчера утром ушел на службу, так и не приходил. Беда с таким квартирантом. Вы знаете, я до сих пор

не привыкла. Кроме того, он не платит мне за квартиру.

– А вы, извините, мадам, кажется, в положении? – неожиданно молвил Иоаннопольский. – Где служит ваш муж?

Мадам Безлюдная ничего не ответила. Она была разведена уже три года назад, а в выборе отца предполагаемого ребенка все еще колебалась.

– В таком случае до свиданья, – сказал Евсей Львович, вежливо наклонив плешивую голову.

Бросив Юсюпова на полдороге, Иоаннопольский помчался в отдел благоустройства, возбуждаясь на ходу все больше и больше, и под напором интересных мыслей делая крутые виражи на углах пышущих жаром пищеславских магистралей. Сама лошадь Пржевальского, по проспекту которой проносился Евсей, была бы удивлена такой резвостью.

– Уже! – завизжал Иоаннопольский, влетая в каминную комнату.

Он был так возбужден, поднял в отделе такой ветер, что листы месячного календаря «Циклоп» взвились, открыв свой последний декабрьский лист, испещренный красными праздничными цифрами.

– Что «уже»? – зашептали сотрудники.

– Уже! – повторил Иоаннопольский, обтирая цветным платком нежную персиковую лысину.

– Да говорите же, Евсей Львович, – взмолились сотрудники, – что «уже»?

Евсей внезапно замолчал, сел на подоконник, предвари-

тельно сняв с него железный, похожий на крыло пролетки, футляр «ремингтона», и медленно стал выпускать горячий воздух, захваченный в легкие во время финиша по проспекту имени Лошади Пржевальского. При этой операции опавший было «Циклоп» снова зашелестел на стене, и на голове Лидии Федоровны поднялись все ее считанные волосы. Отдышавшись, Иоаннопольский полез в задний карман за папиросами и сказал:

– Уже исчез.

– Филюрин исчез?

– Да, товарищи, Филюрин исчез. Со вчерашнего дня он не приходил домой.

– Теперь, – сказал Пташников, – Каин Александрович его выкинет.

– Вы в этом уверены? – презрительно спросил Евсей.

– Уверен. А вы что думаете?

– Кому в этом месте интересно знать, что думает Евсей Иоаннопольский?

– Ну что за шутки такие! – закричал Костя. – Говорите, товарищ Иоаннопольский, просят же вас.

– Так вы думаете, что Каин Александрович уволит Филюрина?

– Да. Ведь вы же, Иоаннопольский, сами знаете, что это за человек.

– А что вы запоете, если Филюрин уволит вашего Каина Александровича?

За столами водворилась мертвящая тишина. Не в силах удержаться на внезапно ослабевших ногах, Пташников опустился на стул.

– Да, граждане, и это может произойти очень скоро.

– Откуда вы взяли? Это фантазия!

– А невидимый человек – это не фантазия? – возопил Евсей. – А когда невидимый человек исчезает, то это, по-вашему, что, фантазия или не фантазия?

– В чем же дело? – загомонили служащие.

– Дело в том, что где, по-вашему, сейчас Филюрин?

– Откуда же нам это знать?

– Я этого тоже не знаю. Но, товарищи, кто может поручиться, что он не между нами и не слушает всего, что мы сейчас говорим?

Протяжный стон пронесся по отделу благоустройства. Иоаннопольский засмеялся.

Лицо Пташникова покрылось фиолетовыми звездами и полосами.

– А я еще, – сказал он, вздрагивая, – сегодня утром довольно громко ругал Каина. Наверное, Филюрин слышал и все ему расскажет.

– Да вы с ума сошли, – зашикал Евсей Львович, – что вы такое говорите? А если он сейчас сидит на этом футляре и слышит, как вы называете его доносчиком?

Тут с лица Пташникова слетели все краски. У Кости от удивления грудь выгнулась колесом и в продолжение всего

разговора уже не разгибалась.

– Боже меня упаси, – сказал знахарь трагически, – я никогда не говорил, что он доносчик. Это вы сами сказали.

– Я не мог этого сказать, – возразил Иоаннопольский. И, обратившись почему-то лицом к совершенно пустому месту, прочувствованно произнес: – Я, который всегда считал Егора Карловича прекрасным товарищем и очень умным человеком с блестящей будущностью, я этого сказать не мог. Даже наоборот. Я всегда говорил, говорю и буду говорить, что Егор Карлович симпатичнейшая личность.

– Кто же в этом сомневался! – сказала Лидия Федоровна. – Я редко встречала такого милого человека.

– Милого? Что милого! – подлизывался Евсей. – Если вы хотите знать, такого человека, как товарищ Филюрин, во всем свете нет.

Говоря так, Иоаннопольский наслаждался несчастным видом знахаря. Но знахарь оказался не таким дураком, как это могло показаться по внешнему его виду. Он подошел к столу Филюрина и, ласкательно глядя на книгу регистрации земельных участков, произнес большую, почти что юбилейную речь. Тут было все: и «стояние на посту», и «высоко держа», и «счастье совместной работы», и «блестящая инициатива, так способствовавшая». Казалось, что Пташников вытащит сейчас из-под пиджака хромовый портфель, с серебряной визитной карточкой с загнутым углом и каллиграфической гравировкой: «Старшему товарищу и бессменному руково-

дителю в день трехлетнего юбилея».

Когда речь окончилась и служащие почувствовали, что Прозрачный уже достаточно задобрен, они снова подступили к Евсею Львовичу. Случилось как-то так, что Евсей Львович оказался чем-то вроде поверенного Филюрина. Ему задавали вопросы, и он отвечал на них с большим весом.

По мнению Евсея Львовича, Прозрачный, пользуясь неограниченными своими возможностями, уже занялся высокополезной общественной деятельностью и, конечно, будет ее продолжать. Будучи особенно хорошо знакомым со структурой совучреждений, невидимый, несомненно, будет бороться с извращениями аппарата.

– Уж я его характер хорошо знаю, – говорил Евсей Львович, – можете поверить мне на слово.

Поговорив в таком роде в отделе, Иоаннопольский лучезарно улыбнулся и отправился в местком. По дороге он останавливался, чтобы поговорить со знакомыми из других отделов Пищ-Ка-Ха. Тема была прежняя – исчезновение Прозрачного.

– Я просто так думаю, – говорил Евсей Львович, пожимая руки и раскланиваясь на все стороны, – что Прозрачный сделал это нарочно, чтобы узнать, кто чем дышит. Вы же понимаете, что если он захочет, то от него не может быть никаких тайн. Ей-богу, не хотел бы я быть сейчас на месте Доброгласова. Да и самому Доберману-Биберману может нагореть. Помните историю с подрядом на домовые фонари? А

сколько есть дел, о которых мы ничего не знаем! Уж Прозрачному все известно. Будьте уверены! Ну, я пошел!

На знакомых слова Евсея производили совершенно разное впечатление. Одни удивленно ахали, от души веселясь и ожидая в самое ближайшее время больших сюрпризов. Другие грустнели и сразу становились неразговорчивыми.

– Вы слышали новость? – кричал Иоаннопольский, входя в местком. – Прозрачный наконец взялся за ум! Когда его спрашивают – не откликается!

– Ну, что из того? – спросил председатель месткома вяло. Иоаннопольский, возмущенный индифферентностью профработника, даже подскочил на месте.

– Все два этажа с ума сходят, а он спрашивает меня, что из того! Из этого то, что для Прозрачного теперь секретов нет. Ну, вы, положим, рассказываете своей жене с глазу на глаз, что у вас небольшой недочет союзных денег. Вы думаете, что вы одни, что все, что вы говорите, – это тайна, а Прозрачный в это время спокойненько слушает все, что вы говорите, и вы об этом даже представления не имеете. На другой день за вами приходят от прокурора с криком: «А подать сюда Гоголя-Моголя!»

Председатель, который действительно растратил тридцать рублей МОПРовских денег, ошалело посмотрел на Иоаннопольского.

Растрату председатель собирался восполнить членскими взносами, собранными с друзей радио. Недочет же в сред-

ства друзей порядка в эфире должны были покрыть средства Общества друзей советской чайной. А прореху в каске почитателей кипятку предусмотрительный председатель предполагал залатать с помощью еще одного общества, над организацией которого ныне трудился. Это было общество «Руки прочь от пивной».

Заявление Евсея Львовича одним ударом перешибало стройную систему отношений между добровольными обществами, с такой любовью воздвигнутую председателем.

Продолжая дико глядеть на Иоаннопольского, председатель сказал нудным голосом:

– Этот вопрос нужно заострить.

Впрочем, по лицу Евсея он отлично видел, что вопрос и без того заострен до последней степени.

На Пищеслав надвигалась туча, сыплющая гром и молнию.

Глава VI Каин уволил Авеля

С легкой руки Евсея Львовича Пищеслав переполнился слухами о новой деятельности Прозрачного.

И уже на следующее утро Каин Александрович вызвал в кабинет брата своего Авеля Александровича и долго топал на него ногами.

– Что с тобой, Каша? – удивленно спросил Апель Александрович, полулежа в кресле.

– Прошу мне не тыкать при исполнении служебных обязанностей! – завизжал Каин Александрович.

– Я тебя не понимаю. Этот тон...

– Встать! Воленс-неволенс, а я вас уволенс. Можете идти, товарищ Доброгласов. Без выходного пособия.

– Ты что, пьян? – грубо спросил Апель.

Тогда Доброгласов-старший, полагая вполне возможным присутствие в кабинете Прозрачного, счел необходимым высказать Доброгласову-младшему свои мысли о протекционизме.

– Я всегда проводил, – говорил он вздрагивающим голосом, – беспощадную борьбу с кумовством. Я опротестовываю одностороннее решение примкамеры относительно всеобщего уважаемого управделами ПУМа товарища Иоаннопольского. Последний восстанавливается в должности, а вас, как принятого по протекции, я беспощадно снимаю с работы.

Мы сидим здесь, товарищи, не для благоустройства родственников, а для благоустройства города. Вам здесь не место. Идите.

Авель Александрович, растерянно трясая головой, вышел из кабинета, сдал главную книгу подоспевшему Евсею Львовичу и покинул отдел благоустройства, не получив даже за проработанные два часа.

Иоаннопольский проводил поверженного в прах Авеля ласковым взглядом и удовлетворенно заметил:

– Прозрачный начинает действовать. Начало хорошее. Что-то еще будет!

При этих словах Пташников чуть не упал со стула. Глаза Лидии Федоровны заблестали от слез, а Костя выбежал из комнаты, выронив из кармана бутерброд, завернутый в пергаментную бумагу.

Между тем Каин Александрович в бурном приступе служебной деятельности работал над искоренением кумовства в отделе.

Сперва он написал в стенную газету «Рупор Благоустройства» заметку такого содержания:

НЕ ВСЕ ГЛАДКО

«С кумовством в нашем учреждении не все обстоит благополучно. Эта гнилая язва протекционизма не может быть больше терпима. Пора уже взять под прицел семейство Доб-

рогласовых, свивших себе под сенью Пищ-Ка-Ха уютное гнездышко без ведома самого тов. К.А. Доброгласова, который, как только узнал о поступлении в отдел благоустройства А.А. Доброгласова, немедленно такового снял с работы без выдачи двухнедельной компенсации, памятуя об экономии государственных средств. Пора также ликвидировать имеющихся в Пищ-Ка-Ха двух сыночков тов. Доброгласова, втершихся на службу, безусловно, без ведома уважаемого нами всеми за беспорочную и длительную службу Каина Александровича».

В этой заметке, в которой смертельно перепуганный Доброгласов ополчался на собственных своих сыновей, на плоть от плоти и кровь от крови, он недрогнувшей рукой поставил подпись: «Рабкор Ищи меня».

Прокравшись к стенгазете, которая висела в темном, посещаемом только котами углу коридора, Каин Александрович приклеил заметку синдетиконом к запыленному картону.

Потом Доброгласов вернулся к себе и составил две бумаженции. В одной он доводил до сведения начальника Пищ-Ка-Ха о необходимости немедленного и строжайшего расследования по заметке «Не все гладко» рабкора «Ищи меня», помещенной в стенгазете «Рупор Благоустройства».

Отослав бумажку по назначению, Каин Александрович написал приказ о немедленном выявлении и увольнении из отдела благоустройства каких бы то ни было родственников.

Приказ он собственноручно наклеил на дверях своего кабинета.

Через несколько минут оба Каиновича, подталкиваемые курьерами, уже спускались по учрежденской лестнице.

Евсей Иоаннопольский, наблюдавший из окна исход Каиновичей из Пищ-Ка-Ха, хотел поделиться своей радостью с Пташниковым, но, к великому его удивлению, знахарь стоял на коленях посреди комнаты.

– Что с вами? – закричал Евсей.

– Я родственник, – ответил Пташников.

– Чей?

– Ее.

И Пташников указал на Лидию Федоровну.

– Кем же она вам приходится?

– Женою.

– Но ведь Лидия Федоровна девица. Помнится, так и в анкете написано.

– Скрывали, – зарыдала Лидия Федоровна. – Жили на разных квартирах.

– Сколько же времени вы женаты?

– Двадцать лет. Пятый год скрываем.

– И дети есть?

– Есть. Мальчик один, вы его знаете.

– Какой мальчик?

– Костя. Вот он сидит. Первенец наш. Теперь здесь служит.

– В таком случае, – сказал Евсей Львович, – вас всех надо изжить. Мне вас, конечно, жалко. Вместе работали все-таки. Ну что скажет Прозрачный, если я стану из дружеских чувств потакать своим знакомым? Сами понимаете.

Нелегальное семейство, с такими усилиями скрывавшее свои нормальные человеческие отношения, семейство, жившее тремя домами и устраивавшее супружеские встречи в гостинице, семейство, оказавшееся на краю бездны, – молчало в неизмеримой печали. Пташниковы понимали величину и тяжесть своей вины. Они не просили и не ждали снисхождения.

– Знаете что, – сказал Евсей Львович, – такой важный вопрос без Прозрачного я решить не могу. Сидите пока. Если вы уйдете, некому будет работать. А потом – как решит Прозрачный, так и будет.

Знахарь, жена его Лидия и сын их Костя не стали терять время попусту и с новым усердием принялись за работу.

Дверь кабинета растворилась, и на пороге ее появился Каин Александрович, лишь недавно приклеивший заметку в стенгазету. Обеими руками он держал бронзовую чернильницу «Лицом к деревне». По лицу начальника зайчиком бегала болезненная улыбка.

Он подошел к Косте, со вздохом поставил сторублевую ношу, а взамен ее взял пятикопеечную чернильницу-невыливайку.

Евсей засуетился.

– Ах, какая чернильница! – восторгался он. – Но зачем она Косте? Слушайте, Доброгласов, поставьте ее ко мне. Я ведь все-таки веду главную книгу.

– Пожалуйста, Евсей Львович, мне все равно. Мешает она, знаете ли. Да-а!

Каин Александрович прошелся по комнате и, беспокойно вылупив белые глаза, неожиданно заметил:

– А не кажется ли вам, товарищи, что охрана труда у нас хромает? С вентиляцией все благополучно? Ну, работайте, работайте, не буду вам мешать. Да, кстати... Егор Карлович еще не приходил? Нет его? Отлично. Посадите, Евсей Львович, кого-нибудь на регистрацию, посетители ждать не должны. Ведь не посетители для учреждения, а учреждение для посетителя.

Но посетителей в этот день не было, потому что пище-славские граждане занимались заметанием следов. Многие каялись в своих грехах публично.

Призрак, олицетворяющий предельную добродетель, носился по городу, вызывая самые удивительные события.

Чувство критики, дремавшее в сердцах граждан, проснулось.

На общем собрании членов союза Нарпит работа месткома была признана неудовлетворительной. На секретаря месткома, не знавшего такого случая за всю свою многолетнюю профсоюзную практику, это подействовало ужасающим образом.

Он, заготовивший уже хвалебную резолюцию, онемел на целых полчаса. А когда обрел дар речи, поднялся и заявил, что он, секретарь, в профработе ничего не смыслит, что деньги, ассигнованные на культработу, проиграл на лотерее в пользу беспризорных и что гендоговора никогда в своей жизни не прорабатывал, хотя таковой и должен обязательно прорабатываться на местах.

Свою сильную образную речь секретарь кончил пламенным призывом никогда больше в местком его не выбирать.

Экскурсия, посетившая музей благоустройства, вытащила оттуда трамвайный вагон № 2, снабженный мемориальной доской в честь тов. Обмишурина, и поставила его на рельсы. Трамвайный парк, получив музейное подкрепление, успешно справлялся с перевозками пассажиров.

У дверей прокуратуры и уголовного розыска вились длинные очереди кающихся. Зато очереди у кооперативных магазинов убывали в полном соответствии с очередями у дверей закона.

Две госпивные с зазорными названиями «Киевский Шик» и «Веселый Канарей» прекратили подачу пива и сосисок. Вместо этого подавались сидр с моченым горохом и пудинг из капусты.

«Пищеславский Пахарь» поместил сенсационное письмо секретаря литгруппы ПАКС тов. Пекаря:

«Многоуважаемый тов. редактор! Не откажите в любезности поместить на страницах вашей газеты нижеследующее:

хотя организационный период литгруппы ПАКС давно закончился, но мы, несмотря на то что зарвавшиеся политики из „Чересседельника“ нам уже не мешают, к творческой работе до сих пор не приступили и, вероятно, никогда не приступим.

Дело в том, что все мы слишком любим организационные периоды, чтобы менять их на трудные, кропотливые, требующие больших знаний и даже некоторых способностей занятия творчеством.

Что же касается единственного произведения, имеющегося в распоряжении нашей группы, якобы написанного мною романа «Асфальт», то ставлю вас в известность, что он полностью переписан мною с романа Гладкова «Цемент», почтить который дала мне московская знакомая, зубной техник, гражданка Меерович-Панченко.

Бейте меня, а также топчите меня ногами.

Секретарь литгруппы ПАКС Вавила Пекарь».

Исповедь «Чересседельника» была помещена чуть ниже.

Мелкие жулики каялись прямо на улицах сотнями. Вид у них был такой жалкий, что прохожие принимали их за нищих.

Скульптор Шац, чувствуя страшную вину перед обществом за изготовление гвардейского памятника Тимирязеву, прибежал в допр и, самовольно захватив первую свободную камеру, поселился в ней. От администрации он не требовал

ничего, кроме черствого хлеба и сырой воды. Время свое он коротал, биясь головой о стены тюрьмы. Но это было ему запрещено, так как удары расшатывали тюремные стены.

Даже такой маленький человек, как госпапиросник с бывшей Соборной площади, и тот побоялся разоблачений Прозрачного и опустил на самого себя жалобу в горчичный ящик. Папиросник признавался в том, что из каждой спичечной коробки он вынимал по несколько спичек, из которых в течение некоторого времени составлялся спичечный фонд. Зажиленные таким образом спички папиросник открыто продавал, а вырученные от их продажи деньги обращал в свою личную пользу. Этим за пять лет работы он причинил Пищеславу убыток в сумме 2 рубля 16 ¹/₂ копеек.

На третий день после исчезновения Прозрачного у мадам Безлюдной родился сын. Но, несмотря на общую отныне для Пищеслава чистосердечность, мадам не могла объявить, кто отец ребенка, так как и сама этого не знала.

Евсей Львович чувствовал себя полезным винтиком в новой городской машине и начал отвечать на поклоны Каина Александровича весьма небрежно. Доброгласов так испугался, что перестал ездить домой в автомобиле и стал скромно ходить пешком.

– Тем лучше, – сказал Иоанноньский, – оставим автомобиль для Прозрачного. Он, вероятно, скоро освободится и захочет служить. Шуточное дело! Столько работы у человека! Вы видели, какую партию жуликов провели вчера с за-

вода труб и барабанов? Это целая панама!

– А завод как же остался?

– Завод закрыли, законсервировали на вечные времена. Нужно же быть сумасшедшим, чтобы работать на таких допотопных станках. Каждая труба стоила чертову уйму денег. О барабанах я уже не говорю!

Пока Прозрачного не было, Евсей Львович пользовался автомобилем сам.

В течение одной недели город совершенно преобразился. Так падающий снопами ливень преобразует городской пейзаж. Грязные горячие крыши, по которым на брюхах проползают коты, становятся прохладными и показывают настоящие свои цвета: зеленый, красный или светло-голубой. Деревья, омытые теплой водой, трясут листьями, сбрасывают наземь толстые дождевые капли. Вдоль тротуарных обочин несутся волнистые ручьи.

Все блестит и красуется. Город начинает новую жизнь. Из подворотен выходят спрятавшиеся от дождя прохожие, задирают головы в небо и, удовлетворенные его непорочной голубизной, с освеженными легкими разбегаются по своим делам.

В Пищеславе никто больше не смел воровать, сквернословить и пьянствовать. Последний из смертных – мелкая сошка Филюрин – стал совестью города.

Иной подымал руку, чтобы ударить жену, но, пораженный мыслью о Прозрачном, тянулся рукою за ненужным предме-

том.

«Ну его к черту! – думал он. – Может быть, стоит тут рядом и все видит. Опозорит ведь на всю жизнь. Всем расскажет».

На улицах и в общественных местах пищеславцы вели себя чинно, толкаясь, говорили «пardon» и даже, разъезжаясь со службы в трамвае, улыбались друг другу необыкновенно ласкательно.

Исчезли частники. Исчезли удивительнейшие фирмы: «Лapidус и Ганичкин», торговый дом «Карп и сын», подозрительные товарищества «Продкож», «Кожпром» и «Торгкож». Исчезли столовые без подачи крепких напитков под приятными глазу вывесками: «Верден», «Дарданеллы» и «Ливорно». Всех их вытеснили серебристые кооперативные вывески с гербом «Пищестреста» – французская булка, покоящаяся на большом зубчатом колесе.

Сам глава оптической фирмы «Триггер и Брак», известный проныра и тертый десятый прокурорами калач, гражданин Брак пришел в полнейшее отчаяние, чего с ним еще ни разу не случилось с 1920 года. Дела его шли плохо, а магазин собирались описать и продать с аукциона за долги.

Единственным человеком, не заметившим происшедшей с Пищеславом метаморфозы, оставался Бабский. Он не покидал своей комнаты со дня визита к нему Филюрина. Длинное оранжевое пламя примуса взвивалось иногда к потолку, освещая заваленную мусором комнату. Городской изобрета-

тель работал.

К концу преобразившей город недели мальчишка-пионер, проходивший мимо Центрального объединенного клуба, громогласно заявил, что клуб, как ему уже давно кажется, ни к черту не годится и что строили его пребольшие дураки. Вокруг мальчика собралась огромная толпа. Все в один голос заявили, что клуб действительно нехорош. Разгоряченная толпа направилась в отдел благоустройства и потребовала немедленной перестройки клуба.

В Пищ-Ка-Ха вняли голосу общественности и обещали приступить к выкорчевыванию лишних колонн. Внутренние большие и малые колонны предполагалось совершенно уничтожить и на освободившемся месте устроить обширные залы и комнаты для всех видов культурной работы.

В день открытия работ к зданию с четырех сторон подошли отряды строителей и углубились в колонный мрак. Толпы любопытных окружали клуб, с удовольствием прислушиваясь к строительным стукам.

Иоаннопольский и Доброгласов, с трудом прорезав толпу, подкатили на автомобиле к клубной паперти. Каин Александрович решил лично руководить работами по перedelке здания. Евсея он взял с собой, потому что бухгалтер последнее время считал себя неразрывной частью автомобиля и не отрывался от него ни на минуту.

Уже из клуба начали выкатываться аккуратно распиленные на части колонны, как вдруг задним рядам напиравшей

на клуб толпы показалось, что на ступеньке здания кто-то взмахнул шапкой. В передних рядах послышались восклицания.

– Что случилось? Что случилось? – пронеслось над толпой.

Еще не все знали в чем дело, а уже площадь содрогалась от мощных криков.

В дремучем лесу центральных объединенных колонн объявился Прозрачный.

Глава VII «А я здесь!»

Плохо пришлось бы Прозрачному, если бы его невидимое тело требовало пищи. Но есть ему не надо было, и семь дней, проведенных в лабиринте Центрального объединенного клуба, пошли ему даже на пользу. Он научился скучать и читать, что человеку без тела совершенно необходимо.

Мучило его только то, что Доброгласов воспользуется прогулом и уволит его со службы.

В последний день своего пребывания под гостеприимной сенью клубных колонн Прозрачный томился, скучая по свету, по человеческим лицам и голосам. Он сделал последнюю попытку выбраться из лабиринта. Всюду встречали его вздвоенные ряды колонн, поставленных так часто, что дневной свет не проникал дальше третьего их наружного ряда.

Поэтому, услышав первые удары лома по камню, Прозрачный стал призывать на помощь. Он бросился навстречу звукам, и скоро между колоннами забрезжил серенький свет.

– Ау! – кричал Прозрачный, словно собирал грибы в лесу. Не получив ответа, невидимый закричал «Караул!», и на этот крик, знакомый всем пищеславцам с детства, стеклись каменщики и десятники.

А уже через две минуты десятник рысью выбежал на воздух и первый сообщил толпе о том, что Прозрачный наконец нашелся, что он жив и здоров и что сейчас прибудет сам.

Перепрыгивая через поверженные колонны, Филюрин бросился за десятником. Он вынырнул на свет и увидел Евсея Львовича. За ним виднелось перепуганное лицо Каина Александровича. Дальше был океан шевелящихся голов, а еще дальше прямо по толпе скакал Тимирязев, и его чугунная полированная свекла сверкала на солнце.

– Покажите, где вы! – крикнул Иоаннопольский. – Граждане! Прозрачный среди нас. Покажите нам, где вы, Егор Карлович!

Прозрачный снял с головы десятника фуражку с молоточками и помахал ею в воздухе. Вид фуражки, которая сама по себе прыгала на расстоянии двух метров от земли, привел толпу в иступление.

Филюрин, не поняв, что приветственные крики относятся к нему, растерялся и возложил фуражку на голову ее владельца. Это вызвало еще больший энтузиазм.

Прозрачный заметил, что перед ним стоит сам Каин Александрович, отвечивая вежливые поклоны.

– Товарищ Доброгласов, – сказал регистратор, – верьте слову, я тут ни при чем...

– Как же ни при чем, – залебезил Каин Александрович, ориентируясь на голос Филюрина, – когда совершенно на оборот.

– Эти возмутительные колонны заставили меня...

– Нет, нет, колонн уже не будет. На этот счет не беспокойтесь.

– Значит, вы признаете, что у меня были уважительные причины для неявки на службу?

– Не беспокойтесь, не беспокойтесь! Работа не пострадала. На вашем месте уже сидит другой.

– Как другой? – закричал Прозрачный. – Я буду жаловаться! Я до суда дойду!

Но тут Евсей Львович, быстро смекнувший, что Прозрачный ничего не знает о своем могуществе, оттолкнул Доброгласова локтем и крикнул в толпу:

– Пламенный привет товарищу Прозрачному от имени работников конторского учета!

– Даешь Прозрачного! – закричала толпа. Филюрин не понимал ровным счетом ничего.

«Ну и дубина же этот Прозрачный, – подумал Иоаннопольский, – сделали бы меня невидимым, я им бы такое показал!» И, обращаясь к Доброгласову, крикнул:

– Каин! Скажите, чтобы подавали машину! Товарищ Прозрачный устал от выявления недочетов и заедет ко мне отдохнуть.

– Может быть, товарищ Прозрачный заехал бы ко мне отдохнуть? Жена будет так рада! – пролепетал Доброгласов.

– Не говорите глупостей. Вы же одной ногой стоите на бирже труда! – зашипел Евсей Львович. – Хотели человека уволить за невидимость, а теперь обедать, обедать! Позовите поскорее машину!

– Разве я хотел его уволить? – смутился Каин Алексан-

дрович. – Не помню, ей-богу.

– Ну хорошо, посмотрим еще, кто будет заведовать отделом благоустройства.

Доброгласов слегка застонал и с усердием курьера-новичка бросился выполнять поручение.

Но сесть в машину Иоаннопольский ему не разрешил.

– Вы и пешком дойдете, – сказал бесцеремонный Евсей, – вам близко. А у меня с товарищем Прозрачным предвидится секретный разговор. Вы здесь, Егор Карлович?

– Здесь, – раздался голос с кожаной стеганой подушки.

– Возьмите мою шляпу и помахайте толпе, – посоветовал бухгалтер, – она это любит.

Когда автомобиль под крики толпы выбрался с площади, Каин Александрович, задумчиво вертя в руках портфель, побрел домой.

– Снимают! – сказал он жене, сбросив пиджак и оттягивая вперед подтяжки табачного цвета.

– Я так и знала, – заявила жена, – после увольнения родных детей и брата я от тебя ничего путного уже и не жду.

– Ты просто дура! – устало сказал Доброгласов.

Он лег на красный плюшевый диван и уставился на цветную фотографию полуголой дамы, закинувшей руки на затылок. В углу фотографии было написано «Истома». И дамочка и подпись к ней были знакомы Доброгласову со дня женитьбы. Он созерцал фотографию, потому что так ему легче было обдумывать все обстоятельства несчастливого повернув-

шейся карьеры.

Жена, однако, не отставала.

– Каин! Почему ты уволил детей и Авеля? Ты этим буквально его убил!

– А ты хотела бы, чтобы Абель меня убил? Не выгони я Авеля, этот дурак Прозрачный попер бы меня самого.

– Но тебя ведь все равно снимают.

Тут Доброгласов отвел глаза от фотографии и, видно, придя к какому-то решению, сказал:

– Ну, это еще бабушка надвое сказала!

– А ты получил отчисления от «Тригер и Брак» за поставку фонарей?

– Аннета, ты пошлячка! Ну как я мог взимать отчисления, когда Прозрачный всюду совал свой нос?

– Чем же ты будешь кормить своих детей?

– Волноваться не нужно. Что-нибудь выдумаем. Знаешь, Аннета, пока Прозрачный сидит у этого негодяя управделами ПУМа, я схожу к Бракам и попробую получить у них отчисления за фонари.

Евсей Иоаннопольский окружил Прозрачного отеческими заботами. Сделать это было нетрудно, потому что ни в каких земных благах невидимый не нуждался.

После длительной беседы с бухгалтером Филюрин узнал обо всем, что произошло в городе за время его отсутствия.

– Они, Егор Карлович, теперь вас как огня боятся! – убеждал Евсей. – Какое счастье для города, что в нем живет и ра-

ботаает такой светлый ум. Мне даже страшно, что рядом со мною сидит такая личность.

– Из этого нужно сделать соответствующие оргвыводы, – сказал Филюрин по привычке, но, вспомнив, что тела у него нет по-прежнему, печально затих.

Однако Евсей Львович понял слова Прозрачного по-своему.

– Конечно, нужно сделать соответствующие оргвыводы. Это блестящая идея. Нужно уволить Каина.

– Кто же его уволит?

– Ну какой вы, простите меня, добродушный и замечательный человек. Вы его уволите, вы!

– Регистратор не может уволить своего начальника.

– Простой регистратор не может, а вот прозрачный регистратор может. Вы все эти мелкие дела передайте мне. Я все устрою. Зачем вам пачкаться в чепухе? У вас теперь есть более важные дела.

– В самом деле, безобразия творятся! – сказал Прозрачный, припоминая прочитанные в клубном заточении отчеты.

На другой день Иоаннопольский без доклада вошел в кабинет Доброгласова и сухо сказал:

– Прозрачный говорит, что вам следовало бы написать заявление об увольнении. В случае отказа Прозрачному придется рассказать кое-кому о том, как вы сдавали подряд на домовые фонари.

Каин Александрович настроил заявление, даже не пик-

нуб.

Падение Доброгласова подняло акции Прозрачного еще выше. Слава его, прилежно раздуваемая Иоаннопольским, выросла до пределов возможного, и даже состоявшееся вскоре назначение Евсея Львовича на пост заведующего отделом благоустройства не смогло ее увеличить.

Высокопоставленный регистратор службу бросил и коротал свои бесконечные досуги в игре на мандолине, посещении цирка и прогулках по городу. Скучал он по-прежнему, и развлекала его только шутка, которой научил его Евсей Львович, имевший на то особые виды. Шутка заключалась в том, что Филюрин регулярно заходил во все учреждения Пищеслава, пробирался в кабинеты ответственных работников и неожиданно вскрикивал:

– А я здесь! А я здесь!

Это всегда давало сильный эффект и поддерживало за Прозрачным репутацию неусыпного контролера над всем происходящим в городе. Самого же Филюрина чрезвычайно потешали испуганные лица и нервные судороги, охватывавшие занятых деловой работой людей.

Гуляя, как Гарун-аль-Рашид, по городу, Прозрачный слышал много разговоров о себе. Его хвалили. Говорили, что с его помощью грозные некогда учреждения стали более доступными для посетителей, что работники прилавка на вопрос о крупе уже не отвечают – «вот еще, чего захотели», а нежно улыбаясь, отвешивают ее с пятиграммовым походом.

Толковали о великой пользе, принесенной Прозрачным, и радовались тому, что Центральный объединенный клуб, обнесенный уже стенами, скоро станет отвечать культурным запросам пищеславцев.

И в те дни, когда Филюрин слышал о себе такие речи, «Осенний сон», исполняемый им на мандолине, звучал еще упоительней, чем обычно.

И скромный серенький регистратор начинал гордиться все больше и больше.

Чувство это, разжигаемое Евсеем, принимало значительные размеры.

Иоаннопольский, державшийся на посту заведующего отделом благоустройства только благодаря Прозрачному и сердечно ему за это признательный, прилагал все усилия к тому, чтобы сделать Филюрину приятное.

Для начала Евсей раздобыл для Прозрачного большую комнату в доме № 16 по проспекту имени Лошади Пржевальского.

В этой комнате жил старик пенсионер Гадинг, кончины которого с нетерпением ждали все жильцы дома. На получение комнаты рассчитывали и соответственно этому строили планы на будущее дворник, все жильцы от мала до велика и их иногородние родственники, а также управдом, его друзья и друзья его друзей.

Постегиваемый нетерпеливыми жильцами, старик Гадинг тихо скончался. Не успел еще гроб проплыть на кладбище,

как комната оказалась запечатанной восемнадцатью сургучными печатями. На них были оттиски медных пятак, монogramm и просто пальцев. Это были следы жильцов. Кроме того, висели еще официальные фунтовые печати ПУНИ.

Ужасный поединок между жильцами и управдомом, друзьями управдома и родственниками, жильцов, и всех их порознь с ПУНИ прервался неожиданным въездом в комнату, служившую предметом стольких вожелений, Филюрина. С этого времени у Прозрачного появились первые враги.

Эта услуга Евсея Львовича явилась первой.

За нею последовало угодничество более пышное и обширное. Старался уже не только Евсей Львович. Нашлось множество бескорыстных почитателей филюринского гения.

С большой помпой был отпразднован двухлетний юбилей служения Филюрина в отделе благоустройства. Торжественное заседание состоялось в помещении городского театра, и если бы не клопы, которые немилосердно кусали собравшихся, то все прошло бы совсем как в большом городе.

Клопы были бичом городского театра. Спектакли приходилось давать при полном освещении зрительного зала, потому что в темноте мерзкие твари могли бы съесть зрителя вместе с контрамаркой.

Зато банкет после заседания был великолепен.

Юбиляру поднесли прекрасную мандолину с инкрустацией из перламутра и черного дерева и сборник нот русских песен, записанных по цифровой системе. Приветственные

речи были горячи, и ораторы щедро рассыпали сравнения. Прозрачного сравнивали с могучим дубом, с ценным сосудом, содержащим в себе кипучую энергию, и с паровозом, который бодро шагает к намеченной цели.

Под конец вечера юбиляр внял неотступным просьбам своих друзей и сыграл на новой мандолине все тот же вальс Джойса «Осенний сон». Никогда еще из-под медиатора не лились такие вдохновенные звуки.

«Пищеславский Пахарь» поместил на своих терпеливых столбцах длинейшее письмо, в котором Прозрачный, помянув должное число раз многоуважаемого редактора и редактируемую им газету, благодарил всех, почтивших его в день двухлетнего юбилея. Письмо было составлено Иоаннопольским. Поэтому наибольшая часть благодарностей пала на его долю.

Иоаннопольского несло. Он вытребовал из допра поселившегося там скульптора Шаца.

– Шац, – сказал ему правая рука Прозрачного, – нужен новый памятник.

– Кому?

– Прозрачному!

– Нет, – ответил Шац, – я не могу больше делать памятников. Мне Тимирязев является по ночам, здоровается со мной за руку и говорит: «Шац, Шац, что вы со мной сделали?»

– Шац, Шац, памятник нужен, – продолжал Евсей, – и вы его сделаете.

– Это действительно так необходимо?

– Этого требует благоустройство города.

– Хорошо. Если благоустройство требует, я согласен. Но, предупреждаю вас, его не будет видно.

– Почему?

– Разве может быть видим памятник невидимому? Иоаннопольский призадумался, поскребывая многодумную лысину.

– А все-таки вы представьте смету, – заключил он.

– Против сметы я не возражаю, – заметил скульптор, – ее видно. Однако должен вас предупредить, что памятник встанет вам не дешево. Вам бронзу или гипс?

– Бронзу! Обязательно бронзу!

– Хорошо. Все будет сделано.

В тот же вечер, когда произошел беспримерный разговор о постановке памятника невидимому человеку, из пищеславского допра по разгрузке вышел Петр Каллистратович Ивановпольский – подлинный управделами ПУМа, известный авантюрист и мошенник.

Глава VIII Хищник выходит на свободу

Оставим на время невидимого, купающегося в лучах своей славы. Оставим граждан города Пищеслава, воздающих робкую хвалу Прозрачному. Оставим и Евсея Львовича, сидящего в кабинете Доброгласова и вычерчивающего красными чернилами многословные резолюции на деловых бумагах.

Обратимся к пружинам более тайным – к лицам, пребывающим теперь в ничтожестве, к людям, ропщущим и недовольным порядком вещей, возникшим в Пищеславе.

Выйдя за ворота допра, Петр Каллистратович Ивановпольский очутился на Сенной площади и зажмурился от режущего солнечного света.

Так жмурится тигр, впервые выскочивший на песочную цирковую арену. Его слепит розовый прожекторный свет, раздражает шум и запах толпы. Пятясь назад, он шевелит жандармскими усищами и морщит морду. Ему очень хочется человечины, но он растерян и еще не ясно понимает происходящее. Но дайте ему время. Он скоро свыкнется с новым положением, забегает по арене, обмахивая поджарый живот наэлектризованным своим хвостом, и перейдет к нападению – начнет угрожающе рычать и постарается зацепить лапой

укротителя в традиционном костюме Буфалло Билля.

Пробежав под стенами домов до памятника Тимирязеву, Петр Ивановский в удивлении остановился. Центральный объединенный клуб был окружен лесами. Из раскрытых ворот постройки цепью выезжали телеги, груженные толстыми колоннами.

Мимо Ивановского прошел хороший его знакомый по давнишнему делу о дружеских векселях кредитного товарищества «Самопомощь».

– Алло! – крикнул Ивановский.

Знакомый внимательно посмотрел в сторону Петра Калистратовича, на секунду остановился, но, не ответив на поклон, важно проследовал дальше.

– Хамло! – сказал Петр Калистратович довольно громко. Затем он отправился в Пищетрест, чтобы повидаться с приятелем, с которым был связан узами взаимной протекции.

Приятель встретил Ивановского без радости. Ивановскому показалось даже, что его испугались. Тем не менее он немедленно приступил к делу. – Ты, конечно, понимаешь, что мне до зарезу нужны деньги. Нужна служба...

– Вижу, – холодно сказал приятель.

– На первых порах я многого не требую. Рублей триста оклад и живое дело.

– Вы что, собственно, товарищ, хотите поступить к нам на службу?

– Ну конечно же.

– Тогда подайте заявление в общем порядке. Впрочем, должен вас предупредить, что свободных вакансий у нас нет, а если бы и открылись, то все равно без биржи труда мы принять не можем.

Иванопольский сделал гримасу.

– Что ты, Аркадий! Это же бюрократизм. В общем порядке, биржа труда...

– Не мешайте мне работать, гражданин, – терпеливо сказал Аркадий.

Иванопольский в гневе повернулся, но, еще прежде чем он ушел, в кабинете раздался возглас:

– А я здесь!

Петр Каллистратович увидел, как перекосилась физиономия Аркадия. Потом по лицу Иванопольского пронесся ветерок, сама собой раскрылась дверь и в общей канцелярии послышалось то же восклицание:

– А я здесь! А я здесь!

Служащие вскакивали с мест и бледнели. Со столов сыпались пресс-папье.

Ничего решительно не поняв, Иванопольский плюнул, вышел на улицу и долго еще стоял перед фасадом Пищетреста, изумленно пяля глаза на его голубую вывеску с круглыми золотыми буквами.

«Что случилось? – думал бывший управделами. – Что за кислота такая в городе?»

Он толкнулся было в магазин фирмы «Лапидус и Ганич-

кин», но тут его ждала неожиданность. Железные шторы магазина были опущены. Первая стеклянная дверь была закрыта на ключ, а на второй двери Ивановский увидел большую сургучную печать.

Петра Каллистратовича взяла оторопь.

И он стал бегать по городу, желая восстановить прежние связи и разыскать кончик нити того счастливого клубка, в сердцевине которого ему всегда удавалось найти прекрасную службу, возможность афер, командировочные, тантъемы, процентные вознаграждения, – словом, все то, что он для краткости называл живым делом.

Но все его попытки кончались провалом. Одни его не узнавали, другие были непонятно и возмутительно официальны, а третьих и вовсе не было – они сидели там, откуда Петр Каллистратович только сегодня вышел.

– Придется в другой город переезжать, – бормотал Ивановский, – ну и дела!

А какие такие дела происходят в городе, он себе еще не уяснил.

– Побегу к Бракам! Если Браки пропали, тогда дело гиблое.

Делами общества со смешанным капиталом «Тригер и Брак» ворочал один Николай Самойлович Брак, потому что Тригер запутался в валюте и давно был выслан в область, которая до приезда Тригера славилась только тем, что в ней находился полюс холода.

Дом Браков был приятнейшим в Пищеславе. Его усердно посещали молодые люди с подстриженными по-боксерски волосами, в аккуратных костюмах, продернутых шелковой ниткой, в шерстяных жилетах, туфлях мастичного цвета и мягких шляпах.

Именно здесь впервые в Пищеславе был станцован чарльстон и сыграна первая партия в пинг-понг. Семья Браков умела жить и веселиться по-заграничному. В передней с молодых людей горничная снимала пальто и брала на чай. После танцев проголодавшимся давали морс с печеньем, а браковские дочки развлекали их разговорами на зарубежные темы. Говорили преимущественно о разнице в ценах на вещи между Берлином и Пищеславом, клеймили монополию внешней торговли, из-за которой ходишь «голая, босая», и о новой заграничной моде – пудриться не пудрой, а тальком. Этому молодое поколение Браков придавало особо важное значение.

Заграничная жизнь в доме Николая Самойловича достигла своего апогея в тот вечер, когда глава семейства принес домой вязочку бананов.

Появление бананов в Пищеславе совпало с приездом в город выставки обезьян. Для поддержания жизни лучшего экспоната выставки – гориллы Молли – выставочная администрация выписывала бананы из-за границы. Горилла могла похвастаться тем, что, кроме нее, ни одна живая душа в Пищеславе не ест редкостных плодов.

Но семейство Брак в стремлении своем к настоящей жизни не знало никакого удержу. Николая Самойлович, баловавший дочерей, не мог отказать им ни в чем.

Выставочный сторож не устоял перед посулами Брака.

На чайном столе Браков закрасовались бананы. Они были, правда, вырваны из пасти гориллы, но зато укрепили за семейством репутацию европейцев душою и телом.

Со времени исчезновения Филюрина дом Браков затих. Молодые люди перестали ходить, чарльстон прекратился, а здоровье гориллы заметно улучшилось – она получала теперь свою порцию бананов полностью.

Дела Брака пошатнулись. Оптический магазин был опечатан за неплатеж налогов. Знакомый фининспектор сознался в том, что был дружен с женою некоего налогоплательщика, за что его и сняли с работы. Государственные учреждения не давали больше выгодных подрядов.

Николай Самойлович ходил по квартире смутный и раздражительный.

– Если так будет продолжаться еще неделю, – кричал он, – я пропал!

В такую минуту пришел к нему Доброгласов.

– Ну, как насчет пыщи? – зло спросил его Брак.

«Пыщей» Николай Самойлович называл все, имеющее отношение к деньгам, карьере, поставкам и тому подобным приятным вещам. «Как насчет пыщи» значило: «Как вы зарабатываете? Нет ли какого-нибудь дельца? Что слышно в

губсовнархозе? С кем вы теперь живете? Получена ли в губсоюзе мануфактура? Почему сегодня на черной бирже турецкие лиры?» Многое, почти все, обозначалось словом «пыща».

Каин Александрович отлично знал универсальность этого слова и грустно ответил:

– Плохо.

– Душат? – спросил Брак.

– Уже задушили, – ответил Каин Александрович. – С работы сняли. Того и гляди под суд попаду.

– За что?

– По вашему делу. Подряд на фонари.

– Значит, выходит, что и я могу попасть с вами?

– Вполне естественно.

– Позвольте, Каин Александрович, но ведь с моей стороны это была не взятка, а добровольные отчисления, благодарность за услуги, которые вы мне оказывали в сверхурочное время.

– Нет, Николай Самойлович, будем говорить откровенно. Прозрачный сидит сейчас у бухгалтеришки Евсея, которого я, дурак, своими руками взял на службу, и играет на мандолине. Как только игра прекратится, нам сообщат. Так что если подлец Евсей захочет подослать Филюрина сюда, мы будем вовремя предупреждены. Итак, поспешим. Вы – лиходелатель, а я – взяткобратель, а никакая не благодарность. Для нас обоих существует одна статья. Поэтому нам надо спасать

друг друга.

– Кто бы мог подумать, что из-за такого дурака, как Филюрин, вся жизнь перевернется. Вы знаете, Каин Александрович, еще неделя – и я уже не человек.

– Подождите, Николай Самойлович, не убивайтесь.

– Нет! Нет! Я уже чувствую! Брак погибнет, как погиб Тригер. И, сказать правду, Тригеру лучше там, чем Браку здесь. Магазин пустят с молотка, квартиру заберут, в учреждениях сидят какие-то тигры. И в довершение всего – могут посадить.

– Вы думаете, мне лучше? – с чувством сказал Каин Александрович. – Воленс-неволенс, а я должен кормить детей и брата Авеля, которых я сам уволил. Денег нет, и я не знаю, откуда они могут взяться.

– Нужно действовать. Нужно что-нибудь придумать. Неужели Прозрачного никак нельзя скovyрнуть?

– Попробуйте скovyрните! Вы знаете про его шутки в учреждениях?

– «А я здесь»?

– Ну да. Так вот, попробуйте скovyрните вы его, когда никто не знает, где он и что!

– Вот если бы он не был прозрачный... – задумчиво молвил Николай Самойлович.

– Чего еще захотели! Да я бы его тогда моментально выгнал со службы, да так, что местком и пискнуть не посмел бы!

– Тогда есть только одно средство! Сделать его снова видимым!

– Открыл Северную и Южную Америку! – с иронией произнес Доброгласов. – Не вы ли это забросите свои коммерческие дела и займетесь изобретенческими вопросами?

– Нет, не я.

– А кто?

– Тот, кто сделал его невидимым.

– Бабский!!

– Догадались наконец.

– Но ведь он совершенно сумасшедший.

– А самое существование Прозрачного – это не сумасшествие? А мы с вами не сумасшедшие, если живем в таком городе и до сих пор не издохли?!

Глаза Каина Александровича расширились. Надежда залила их зеркальным светом.

– Да! – закричал он. – Мы должны выявить Прозрачного, и мы его выявим!

Николай Самойлович поспешно переодевался. Он стянул свое брюхо замшевым поясом с автоматической застежкой. Заливаясь краской, застегнул ворот рубашки «лионез» и пошарил в карманах, бормоча:

– Да! Нужны деньги. О, эти деньги!..

– Их жалеть нечего, – сказал Доброгласов, – с лихвой окупим.

– Ну, с богом! Вы знаете, Каин Александрович, никогда в

жизни я еще так не волновался.

И союзники поспешно двинулись на Косвенную улицу, прибавляя шаг по мере приближения к затхлому жилью изобретателя.

В начале Косвенной их поразили необычные крики. На встречу им по мостовой двигалась странная процессия. Впереди всех, пританцовывая и взмахивая локтями, бежал совершенно голый, волосатый, грязно-голубой мужчина.

Нужно думать, что нагретые солнцем булыжники обжигали ему пятки, потому что голый беспрерывно подскакивал вершка на три от мостовой.

– Я невидимый! – кричал голый низким колеблющимся голосом.

Толпа отвечала смехом и улюлюканьем.

– Я невидимый! Я невидимый! – надсаживался человек. – Я перестал существовать!

– Кто это такой? – спросил Каин Александрович у мальчишки. – Что тут случилось?

Но никто не отвечал. Зрителям не хотелось терять на пустые разговоры ни одной минуты.

Голубой человек с грязными подтеками на спине делал уморительные прыжки. Толпа негодовала:

– Срам какой!

– Давно такого хулиганства не было!

– В милицию его!

– Я невидимый! – вопил голый. – Я стал прозрачным. Я,

прошу убедиться, изобрел новую пасту «Невидим Бабского»!

– Бабский! – ахнул Доброгласов. – Мы пропали, Николай Самойлович. Видели, что делается? Окончательно спятил!

К месту происшествия уже катил в пролетке постовой милиционер.

– Держите его, граждане! – крикнул он. – Окажите содействие милиции.

– Вон! – орал Бабский. – Никто не может меня схватить. Меня не видно! Разве вы не видите, что меня не видно?! Ха-ха! «Невидим Бабского» сделал свое дело! Каково?

– Очень хорошо, – уговаривал милиционер, просовывая руки под голубые подмышки изобретателя, – не волнуйтесь, гражданин!

Толпа с гиканьем подсаживала Бабского в пролетку.

– Гениальные изобретения всегда просты! – кричал Бабский, валясь на спину извозчика. – «Невидим Бабского» – шедевр простоты: два грамма селитры, порошок аспирина и четверть фунта аквамариновой краски. Развести в дистиллированной воде!..

Извозчик слушал, равнодушно отвернув лицо в сторону. Ему было все равно, кого возить – голых, пьяных, голубых или сумасшедших людей. Он жалел только, что не вовремя заснул и не успел ускакать от милиционера.

Бабский буйствовал. С помощью дворников и активистов из толпы Бабского удалось уложить поперек пролетки. Двор-

ники уселись на спину изобретателя. Милиционер вскочил на подножку, и отяжелевший экипаж медленно поехал по Косвенной улице, и до самого поворота в Многолабочный переулок видны были толстые аквамариновые икры городского сумасшедшего.

Целый месяц Бабский искал утерянный секрет «веснулина» и кончил тем, что окончательно рехнулся, выкрасился и в полной уверенности, что стал прозрачным, выбежал на люди.

– Что ж теперь делать? – растерянно спросил Брак.

Каин Александрович топнул ногой, выбив каблуком из мостовой искру.

– Конечно! – сказал он. – Воленс-неволенс, а нужно искать других способов.

Опечаленные друзья, обмениваясь короткими фразами, повернули домой.

– Зайдем ко мне, – предложил Николай Самойлович, – посидим, пообедаете. Может, что-нибудь и придумаем. Вы знаете, Доброгласов, нам нужен человек со свежими мозгами. Не знаю, как ваши, но мои уже превратились в битки.

– Да, Каин Александрович, нам нужен свежий, энергичный, без предрассудков и вполне свой человек. И этот человек...

Николай Самойлович растворил дверь кабинета и отступил:

– Вот!

В кабинете, развалясь на диване и покуривая хозяйскую папиросу, полулежал Петр Каллистратович Ивановский.

Глава IX Юридический панцирь

Подлинный бывший управделами ПУМа Петр Каллистратович Ивановпольский за время сидения в допре действительно сохранил свежесть мыслей, накопил много энергии и окончательно распростился со всеми предрассудками.

Знакомство его с Каином Александровичем носило сердечнейший характер. Доброгласов, тряся руку Ивановпольского, блаженно улыбался и долго повторял:

– Как же, как же, отлично знаю! Управделами ПУМа! Очень, очень приятно! Но вы знаете, какой у вас есть ужасный однофамилец! Змея!

Когда Ивановпольский узнал все пищеславские новости, ему стала понятна холодность друзей и плачевная участь, постигшая торговый дом «Лапидус и Ганичкин».

– Загорелся сыр божий, – сказал он.

Щеки его, покрытые до сих пор тюремной бледностью, порозовели.

– Как ваше мнение, Петр Каллистратович? – спросил Доброгласов, искательно глядя на собеседника.

Насторожился и Брак.

– Мое такое мнение, – объявил гость, – что Прозрачному нужно пришить дело.

Мысль, высказанная Ивановпольским, была так значительна, что Доброгласов и хозяин дома несколько времени по-

молчали.

– Скажите, – вымолвил наконец Каин Александрович, – правильно ли я вас понял? Пришить дело?

– Это немыслимо! – вскричал Брак.

Рот его наполовину открылся, и оттуда глянули давно нечищенные от горя и тоски зубы. Но гость стоял на своем.

– Пришить дело. Безусловно.

– Позвольте, как же можно пришить дело невидимому человеку?

– Вам что, собственно говоря, нужно? Опорочить его?

– Да. Во что бы то ни стало убрать Прозрачного.

– Вот и убирайте. Я вам дал идею.

– Не шутите, Ивановпольский! – закричал вдруг Брак. – Какое может быть дело?! Филюрин физически не существует.

– Вы правы, Николай Самойлович. Он физически не существует, но зато он существует юридически. Вы рассказывали, что Прозрачный имеет сбережения в сберкассе? Прекрасно. Это подтверждает мое мнение. У него есть комната? Даже новая комната, которую он получил уже в невидимом состоянии? Тем лучше. Все это доказывает, что Прозрачный – лицо юридическое. А я могу пришить любому юридическому лицу любое юридическое дело.

– Хорошо, – заволновался Доброгласов, – допустим, хотя я сильно сомневаюсь в том, что Прозрачный попадет под суд, но ведь это одна фикция. Он может просто не прийти

на заседание суда!

– Если он сделает эту глупость, он погиб! – спокойно сказал Ивановский. – Весь город будет знать, что Прозрачный испугался суда и, следовательно, виновен.

– А если явится?

– Ну, это уж зависит от того, какое дело мы против него поведем. Собеседники еще раз попытались пробить юридический панцирь, облакающий физическое тело Петра Каллистратовича.

– Ладно. Его присуждают. Кто будет сидеть в тюрьме?

– Прозрачный, конечно!

– Так он вам и пойдет туда! А вдруг вместо тюрьмы он побежит, например, в цирк? Кто ему может помешать?

– Пусть идет куда угодно. Юридически он будет сидеть в тюрьме. И наконец, зачем нам уголовное дело? Опозорить человека можно и гражданским делом. Наша задача – посадить его на скамью подсудимых и добиться обвинительного приговора. После этого карьера Прозрачного окончится. Поверьте слову!

Доброгласов и Брак были наконец побеждены. Они рассыпались в благодарностях.

– Я человек скромный, – сказал Ивановский, – но одной юридической благодарности мне мало. Я хотел бы получить также физическую.

После долгого торга, который определил размеры вознаграждения Петра Каллистратовича и степень участия его в

будущих благ, а также после получения им задаточной суммы на необходимые издержки, Ивановский поднялся и сказал:

– Покамест я еще не могу сказать вам, какое именно обвинение мы предъявим Прозрачному, так как не знаком с его интимной жизнью. Тут уж мне придется бегать, а вам ждать и верить. У нас ведь, если говорить официально, товарищество на вере?

Узнав у компаньонов, где живет Прозрачный, и еще раз подтвердив, что дело можно пришить всякому – была бы охота, – повеселевший Ивановский ушел.

Несколько дней Петр Каллистратович колесил по городу, выискивая за Филюриным грехи, но прошлое регистратора было так же прозрачно, как и настоящее. За ним не было ничего: ни прогулов по службе, ни хулиганских выходок, ни какой-либо преступной страсти.

Некоторое утешение Ивановский получил только в доме № 16 по проспекту имени Лошади Пржевальского. Все обитатели дома, возмущенные тем, что ПУНИ отдало комнату Прозрачному, были настроены против своего нового соседа. Но из их рассказов Ивановский не почерпнул необходимых ему данных. Невидимый жилец был тих и кроток и даже на мандолине играл по правилам – только до одиннадцати часов вечера.

Ивановский понял, однако, что жильцы дома № 16 готовы лжесвидетельствовать против Прозрачного в любом де-

ле, но так как самого дела еще не было, свидетели были пока не нужны и оставлены про запас.

На четвертый день обследования и собирания материалов Петр Каллистратович направился на старую квартиру Филюрина, надеясь хоть там напасть на какой-нибудь след.

Когда он подходил к дому мадам Безлюдной, у фасада стояло несколько зевак. Мастера прилаживали к стене дома мраморную доску с золотой готической надписью:

«Здесь жил Прозрачный в бытность его Егором Карловичем Филюриным».

Петр Каллистратович с ненавистью посмотрел на памятную доску и, поругиваясь, постучался в дверь мадам, из-за которой неслось пение Безлюдной и крики младенца.

Ничего не знавший о комплоте, организуемом против невидимого, Евсей Львович Иоаннопольский безмятежно правил отделом благоустройства. Сотрудники любили его, хотя Пташников, понимавший, какая пропасть ныне отделяет его от Евсея, уже не смел давать ему медицинских советов.

Иоаннопольский, робкий по природе, всю свою жизнь искал крепкое капитальное место, с которого его не могли бы в любой день снять и где он мог бы по-настоящему отдохнуть. Сейчас ему казалось, что такое место он нашел. Поэтому он старательно его укреплял, делая все возможное для того, чтобы поддержать престиж своего покровителя. Устроив Прозрачному юбилей и польстив ему памятной доской на доме мадам Безлюдной, Евсей Львович спешил с разработ-

кой проекта памятника другу и благодетелю.

Мысль эта казалась ему блестящей, и он гнал всюду, опасаясь, что идея будет перехвачена завистниками и недругами.

Скульптор-управдом вместе с заведующим отделом благоустройства Пищ-Ка-Ха по многу часов подряд толковали о памятнике невидимому и в конце концов убедились в том, что фигуру Прозрачного не удастся отлить ни из бронзы, ни из гипса, потому что не получится подлинной невидимости.

– Может быть, Евсей Львович, остановимся все же на бронзовом? – осторожно спросил скульптор, войдя в кабинет Иоаннопольского с большой папкой эскизов.

– Нет, нельзя, – ответил Евсей, – получится какая-то видимость, а это уже не то.

– Тогда, может быть, поставим товарищу Прозрачному колонну! – воскликнул Шац.

– Вроде Вандомской?

– Конечно! Дайте мне заказ, и я вам сделаю прекраснейшую колонну с барельефами и другими скульптурными украшениями.

– Это мысль. Кстати, у нас на дворе есть много свободных колонн от Центрального клуба.

– Тогда поставим несколько! Одну большую колонну, символизирующую невидимость, посередине, а по бокам – портики, для прогулки граждан.

– И сквер!

– И скамейки для тех, кто захочет посидеть и полюбоваться на памятник!

Новая идея очень увлекла Иоаннопольского. Он старательно укреплял свое положение.

Но не успел проект пройти все положенные инстанции, как произошло нечто совершенно непредвиденное.

Придя однажды на службу, Иоаннопольский заметил, что Пташников смотрит на него кроличьим взглядом.

– Что с вами? – пошутил Евсей Львович. – У вас очень нехороший вид. Может быть, у вас на нервной почве.

Пташников замялся.

– Или отравление уриной? – приставал начальник. Пташников несмело улыбался. Но, как видно, дело было не на нервной почве. Через несколько минут учрежденский знахарь вошел в кабинет Иоаннопольского.

– Вы слышали новость, Евсей Львович? – спросил он, с опасением поглядывая на дверь. – Говорят, будто бы у товарища Прозрачного родилась дочь.

– Что за глупости!

– Честное слово, говорят.

– От кого?

– От бывшей его квартирной хозяйки.

– Какие глупости! – вскричал Иоаннопольский.

Но тут же вспомнил свой разговор с мадам Безлюдной в утро исчезновения Филюрина.

– Чепуха! – проговорил он менее уверенным тоном.

– Нет, нет! Говорят, совершенно точно!

– Ну, что ж из того? Ну, родился ребенок, но ведь это же его интимное дело!

– Да, но рассказывают подробности. Говорят, что он ее на седьмом месяце бросил и теперь даже знать не хочет!

Иоаннопольский сердито встал из-за стола и крикнул:

– Пташников! Вас надо изжить! Воленс-неволенс, а я вас уволенс за распространение порочащих слухов.

– При чем тут я? – оправдывался знахарь. – Я хотел вас предупредить. Вы знаете, что весь город со вчерашнего вечера только об этом и говорит. Я удивляюсь, как товарищ Прозрачный этого не знает.

– Молчите, Пташников! У вас слишком длинный язык!

Но Пташникова уже нельзя было остановить. Прижимая руки к груди и наклоняясь над чернильницей «Лицом к деревне», которая перекочевала в кабинет заведующего, он сообщал новости одна другой ужасней.

– Квартирохозяйка подала в суд!

– Чего же она хочет?

– Алиментов. Много алиментов. Удивляюсь вам, Евсей Львович, весь город знает. Люди возмущены.

– Как? Кто смеет возмущаться?

– Многие! Некоторые, правда, не верят, чтобы Прозрачный мог бросить несчастную больную женщину с ребенком на руках!

– Это ложь! – завопил Евсей. – Они этого не докажут!

– А между прочим, говорят, что бедная женщина голодает, в то время как Прозрачный купается в роскоши.

Тут только Иоаннопольский понял, какая бездна развернулась под его ногами. Покровитель находился в величайшей опасности. И место заведующего отделом благоустройства, которое Евсей Львович так старательно укреплял и дренажировал, вырывалось из-под его геморроидального за- да.

Иоаннопольский знал силу сплетни.

«Хорошо, – думал он, – бегая вдоль стены кабинета. – Суд – это еще полбеды, хотя и это уже плохо. Прозрачный не должен был бы судиться. Как они это докажут? Нужно бороться, иначе все погубло. Нужно пустить контрслух о том, что все это враки, что Прозрачный ни в чем не виновен...»

– А я здесь! – раздался голос Прозрачного.

– Егор Карлович? – спросил Иоаннопольский. – Ну так говорите тише.

– Что новенького в отделе? – сказал Прозрачный. – Хороший у вас галстук, Евсей Львович, сколько дали?

Но Евсею Львовичу было не до галстука. Он сразу вывалил Прозрачному все, что знал со слов Пташникова.

– Разве это про меня говорят? – удивился невидимый. – Я действительно слышал в городе разговоры про какого-то ребенка. Но я думал, что это про кого-нибудь другого.

Евсей Львович со злостью посмотрел в сторону шкафа, откуда шел беззаботный голос Филюрина, и в отчаянии по-

думал:

«Ему все равно, засудят его или не засудят, а ведь я место потеряю, мне пить-есть надо. Я ж не Прозрачный».

– Еще можно все поправить, – сказал Евсей Львович. – Вы жили с ней, с вашей квартирохозяйкой?

– С кем? С мадам Безлюдной? Даже не думал! Все с ума походили, что ли?

– В таком случае я ничего не понимаю! – воскликнул Евсей Львович. – Вы, серьезно, с ней не жили?

– Да ей-богу же, не жил! Даю вам честное слово!

– Откуда? Откуда тогда этот слух? Как же эта дура осмелилась вас позорить? Вы знаете, что на вас подали в суд? Вам нужно защищаться! При вашем положении вы должны пресекать подобные выступления в корне.

И Евсей Львович, сообразивший теперь, что дело совсем не в мадам Безлюдной и не в ее претензиях, что тут действуют какие-то темные и неведомые ему силы, принялся втолковывать Прозрачному элементарные методы борьбы с алиментным злом.

Еще большую энергию вдохнул в него телефонный звонок. Дружеский голос с недоумением сообщил, что Прозрачному вчинен гражданский иск на содержание ребенка, прижитого им от гражданки Безлюдной.

– Повестку послали на квартиру товарищу Прозрачному. Суд состоится, вероятно, дня через три. Так как общественность проявляет к процессу большой интерес, судебное за-

седание будет устроено на Тимирязевской площади, под открытым небом! – закончил доброжелатель.

После этого в трубке послышался рвущий уши треск и хлопанье крыльев.

– Едемте ко мне! – торопил Евсей. – Нужно обсудить! Принять меры!

Когда Иоаннопольский сбежал по лестнице, то увидел, что у дверей Пищ-Ка-Ха стояла мадам Безлюдная в легком белом платье с вышивкой. На руках у нее лежал большой белый кокон, из которого слышался слабый писк.

Услышав голос Прозрачного, легкомысленно спросившего Евсея Львовича «который час», мадам живо выступила вперед и сразу же взяла всесокрушающее до дизел.

– Вот он! – вопила она. – Смотрите все на отца! Его не видно, но он здесь! Он только что разговаривал!

– Бегите! – шепнул Евсей.

Но было уже поздно. Вдова оскалила все свое золото и, протянув ребенка вперед, завизжала:

– На, подлец! Возьми своего ребенка!!! – Прозрачный инстинктивно подхватил дитя. И взорам собравшейся толпы предстала удивительная картина: ребенок, завернутый в пикейное одеяльце, повис в воздухе, а мадам, предусмотрительно отбежавшая шагов на десять, ломала пальцы, без перерыву крича:

– Смотрите все на отца-негодяя! Смотрите! Вот он! А еще Прозрачный!

Евсей Львович был вне себя.

– Да что вы стоите как дурак! Бросайте ребенка и бегите!

Это же подстроенный скандал!

И необозримая толпа, запрудившая к тому времени улицу и переулки, увидела, как ребенок плавно спустился на тротуар и лег на пороге Пищ-Ка-Ха.

– Он убежал! – надрывалась мадам Безлюдная. – Последний босяк этого не сделал бы.

Евсей Львович ринулся вперед и стал проталкиваться сквозь толпу.

Он увидел, как вдоль улицы, под стенкой, трусил Каин Александрович, удаляясь от места происшествия. Рядом с ним, отдуваясь и обтирая лоб платком, тяжело бежал толстяк в коверкотовом костюме. В бежавшем Евсей без труда узнал Николая Самойловича Брак.

А у порога Пищ-Ка-Ха, указывая то на плачущую мать, то на лежащего у ее ног ребенка, стоял Петр Каллистратович Ивановский.

Возбужденная событием, толпа не расходилась до поздней ночи.

Глава X «Вопросов больше не имею»

Иванопольский, Доброгласов и Брак предались ликованию.

– Ну, как насчет пыщи? – хохотал Николай Самойлович.

– Живое дело! – отвечал Иванопольский. – Говорю вам это как юридическое лицо юридическому лицу!

А бледный от внутреннего торжества Каин Александрович слонялся из угла в угол, мечтая о том часе, когда он снова войдет в кабинет заведующего отделом благоустройства, чтобы писать там резолюции, получать отчисления и пугать служащих своим озабоченным видом. Он ясно воображал себе, как сорвет с дверей кабинета с перепугу написанный им приказ об увольнении родичей и повесит на это место белую эмалированную таблицу «Приема нет».

В последние три ночи перед разбором дела Прозрачного Доброгласову снился один и тот же воинственный сон. Он отчетливо видел ахейских воинов, подступивших к огромным воротам Трои и с удивлением останавливающихся перед белой эмалированной таблицей с надписью «Приема нет!»

И он слышал во сне, как печально кричали ахейцы, отступая от ворот Трои:

– Приема нет! Приема нет!

– Приема нет! – кричал Каин Александрович, просыпаясь от звуков собственного голоса.

Все предвещало победу и обильную пыщу, которая, конечно, должна была вскоре последовать. Даже самое звучание слова «пыща» таило в себе обещание некоей пышности и грядущего благоденствия.

В то время как в стане врагов Прозрачного кипело оживление и в доме № 16 по проспекту имени Лошади Пржевальского шла вербовка свидетелей по алиментному делу, Евсей Львович прилагал все усилия к тому, чтобы укрепить пошатнувшуюся популярность своего невидимого покровителя.

Иоаннопольский привел в действие весь аппарат отдела благоустройства. Сотрудники отдела, напуганные возможностью возвращения Каина Александровича, старались вовсю. Они с жаром доказывали друзьям и знакомым, что Прозрачный действительно является существом кристальным и что возведенный на него поклеп – просто глупая болтовня пьяной бабы.

Следствием этого был новый поворот в общественном мнении. Большинство склонялось к тому, что обвинять Прозрачного до суда – преждевременно.

Евсей Львович маялся. Планы, один грандиознее другого, возникали в его лысой голове. То он решал вести борьбу на суде со всем возможным напряжением, заучивал свои показания (он собирался выступить в качестве свидетеля с громом-

вой речью), то исход дела казался ему безнадежным и мысли его обращались к американским родственникам – Гарри Львовичу, Синклеру Львовичу и Хираму Львовичу Джонопольским – родным и богатым братьям Евсея Львовича.

«Не лучше ли бросить, – думал он, – всю эту волюнку и продать Филюрина в Америку? Там призраки, наверное, высоко ценятся. Хорошо было бы списаться с братьями!»

Но эта чушь сидела в голове недолго, и Иоаннопольский снова принимался за будничные хлопоты по сколачиванию свидетельского института и репетированию с Прозрачным его последнего слова.

На рассвете того дня, в который назначено было судебное заседание, Евсей проснулся от голоса Филюрина.

– Евсей! – говорил Прозрачный плачущим голосом. – Мне тошно жить на свете! Разве это жизнь? Я не знаю, что такое аппетит. Я не спал уже два месяца. А теперь еще алименты плати. Вот жизнь!

Иоаннопольский вскочил и быстро стал одеваться.

Солнце, высунувшееся из-за горизонта, посылало темно-розовые лучи прямо под ноги людям, работавшим на площади.

Перед памятником Тимирязеву устанавливали скамьи, к фонарным столбам приладили радиоусилители, и на судебском столе, покрытом сукном, уже стоял графин с водой и никелированный колокольчик.

– Я не хочу платить алименты! – тосковал Филюрин. –

Невидимый не должен платить алименты. Мало того что я потерял тело! Лучше и не мылся бы никогда в своей жизни!

– Так вы смотрите, – увещевал Иоаннопольский, – говорите громко и медленно. Слышите?

– Да слышу, слышу, – уныло отвечал Прозрачный. – Вот противная баба Безлюдная! Хорошо, что я ей за квартиру, когда съезжал, не заплатил.

Ровно в десять часов усилители разнесли по всей площади крик:

– Суд идет! Прошу встать!

Но так как пищеславцы, хлынувшие на площадь в несметном числе, и без того стояли на ногах, то обычного шевеления при появлении судей не произошло.

Уняв гомонившие толпы продолжительными, во сто раз усиленными радио звонками, нарсудья исподлобья взглянул на непривычную по величине аудиторию и возвестил:

– Слушается дело по иску гражданки Безлюдной к гражданину Филюрину. Гражданка Безлюдная!

Мадам приблизилась к столу и, прежде чем ее успели спросить, заголосила, оглядываясь на толпу и выставляя вперед младенца. Судья успокоил ее мягким замечанием и вызвал Филюрина.

– А я здесь! – прокричал Прозрачный.

Судья попросил относиться к суду серьезней, а мадам заплакала навзрыд. В толпе поднялся шум – заседание началось общим сочувствием истице.

Особенно горячих сторонников потерпевшей пришлось призвать к порядку. Только после этого притихли стоявшие в первых рядах Каиновичи и Ивановпольский. Доброгласов и Брак таились где-то вглуби. Евсей Львович в соломенной шляпе канатъе и белом пикейном жилете (именно так он был одет в день свадьбы своей сестры много лет тому назад) стоял с бурым от волнения лицом поблизости к судьям. За ним виднелись лица Пташникова, его тайной жены, тайного сына, курьера Юсюпова и инкассатора. Евсей Львович поминутно оборачивался и делал своей свите какие-то знаки.

Вдова с плачем давала объяснения.

Она ничего не требовала, ничего не просила. Она хотела только, чтобы все узнали, как низко бросил ее этот человек, который когда-то с ней сходил, был видимым, а тогда, когда его фактическая жена была на седьмом месяце беременности, почему-то сделался невидимым.

– Не кажется ли это суду подозрительным! – с гражданским пафосом спросил из первого ряда Петр Каллистратович Ивановпольский.

«Это жулик, – хотелось крикнуть Евсею, – не верьте ему». Но судья и сам знал, что ему нужно было делать.

– Уведите этого гражданина! – сказал судья курьеру. Ивановпольский, выведенный за пределы площади, обошел вокруг перестроенного Центрального клуба и вернулся назад.

– И я прошу, – закончила вдова, – чтобы суд заклеил обманщика и...

– И воочию показал, – не мог удержаться Ивановпольский, – что пролетарский суд, советский суд, учтя статью гражданского процессуального кодекса, покарал...

Конец вдовьей речи Ивановпольский произносил уже под надзором курьера, вторично выведившего его с площади.

– Не кажется ли суду подозрительным, – сказал Евсей Львович дрожащим голосом, снимая канатъе, – что посторонние элементы давят на сознание граждан судей?

– А вы кто такой? Правозащитник? Тогда почему вы вмешиваетесь?

Евсей Львович в страхе отступил. И дело продолжалось.

– Филюрин Егор Карлович, – сказал судья, – дайте ваши объяснения.

Стало так тихо, что слышно было, как на Тихоструйке кричат дети, занятые ловлей раков.

– Что же говорить, товарищ судья! – грустно молвил Прозрачный. – Действительно, я у мадам Безлюдной снимал комнату. (Смех Каиновичей.) Но ничего с ней у меня не было. (Голос Брака: «Ну-у-у!») Верьте не верьте, товарищ судья, тут моей вины нет. Эта дамочка со всеми крутила! (Радостное восклицание Евсея Львовича.) Теперь, товарищ судья, разрешите задать гражданке вопрос?

– Можете.

– Скажите, мадам Безлюдная, почему вы так поздно заявили в суд, если выходит, что я вас два месяца тому назад бросил?

– Не подумала как-то, – ответила вдова, ища глазами поддержки в Ивановпольском.

– Больше вопросов не имею! – закричал Евсей Львович, не дожидаясь, пока эту фразу произнесет подученный им Прозрачный.

– Выведите этого гражданина, – сказал судья. И судебное заседание продолжалось.

Когда Евсей Львович бегом вернулся на площадь, шел вызов свидетелей. Со стороны мадам Безлюдной вышло около пятидесяти человек во главе с Петром Каллистратовичем. Со стороны же Прозрачного выступил один только Евсей Львович. Сколько ни делал он знаков своей свите, никто не вышел. Сунувшийся было на соединение с Иоаннопольским Пташников в последний момент одумался и нырнул в толпу.

Свидетелей увели в Центральный клуб и вызывали оттуда поодиночке.

Навербованные Ивановпольским свидетели оказались все-сторонне осведомленными.

Да, они часто видели бывшего Филюрина вместе с истицей, и часто им удавалось заметить существовавшую между этими гражданами интимную близость, т. е. поцелуи, продолжительные пожатия рук, нежность взглядов и многое другое, неоспоримо доказывающее, что Прозрачный является отцом ребенка и что он совершил неблаговидный поступок, бросив ни в чем не повинное дитя и переселившись к тому же в совершенно чужой дом.

Так показывали все жильцы, дворники и управдом дома № 16 по проспекту имени Лошади Пржевальского.

Свидетельские показания произвели на толпу ошеломляющее впечатление. Чистота Прозрачного была испачкана и вываляна в пыли.

Ввели Иванопольского.

– Вы что, пришли как свидетель? – спросил судья.

– Я пришел к вам как юридическое лицо к юридическому лицу, – с жаром сказал Петр Каллистратович.

– Выведите его, – страдальчески сказал судья, – и не пускайте больше. Кстати, вы судились уже?

– Четыре раза, – ответил Иванопольский, которого на этот раз уводил милиционер.

Это было единственное выступление, бросившее некоторую тень на показания свидетелей истицы. Расположение толпы было все же на стороне бедной женщины, тем более что Евсею Львовичу так и не удалось произнести громовой речи.

Евсей долго вытирал лысину, прижимал канатъе к свадебному пикейному жилету, но никак не мог вспомнить ни одного слова из затверженной наизусть речи. Неожиданно для самого себя Иоаннопольский сказал судье:

– Больше вопросов не имею.

– Вы и не можете их иметь! – сказал измочаленный судья. – Идите! Подсудимый, вам предоставляется последнее слово.

– Мало того что я невидимый, – послышался рыдающий голос, – она мне еще хочет чужого байстрюка подбросить.

– Прошу выбирать выражения! – сказал судья.

– Хорошо, товарищ судья, только напрасно на меня люди говорят. Я человек искалеченный. Тут Бабского с его мылом судить надо, а не меня.

– Держитесь ближе к делу.

Голос Прозрачного шел от цоколя памятника.

– Товарищ судья...

Но не успел еще Прозрачный высказать свою мысль, которая, возможно, была бы ближе к делу, чем все предыдущие, как случилось нечто такое, что исторгнуло из груди всех пищеславцев, собравшихся на площади, протяжный вопль.

На цоколе памятника показалось розоватое облачко, которое на глазах у всех уплотнилось и приобрело очертания человека.

Судья вскочил. Графин с водой опрокинулся и окатил присевшего на корточки Евсея Львовича с ног до головы. Колокольчик брякнулся о каменные плиты, издав глухой звон.

Но все было покрыто громовым шумом толпы, увидевшей Егора Карловича Филюрина в его натуральном виде, с порядочной русой бородой и всклокоченными волосами.

«Веснулин» городского сумасшедшего Бабского неожиданно и вмиг прекратил свое действие.

Голый с криком соскочил наземь, сорвал со стола сукно и закутался им как тогой.

– Согласен! – закричал он, обнимая судью голой рукой. – На все согласен! Хоть ребенок и не мой, пусть берут алименты! Я видимый! Я видимый!

Но истицы уже не было. Она в страхе убежала.

Егор Карлович Филюрин получил тело, а вместе с ним возможность есть, пить, спать, двигаться по службе, не посещать общих собраний и делать еще тысячу доступных только непрозрачным людям чертовски приятных вещей.

Эпилог

На другой день после суда Евсея Львовича вызвал начальник Пищ-Ка-Ха.

– Скажите, – спросил он, – как вы попали на должность заведующего отделом?

– Вы сами меня назначили, – ответил Евсей Львович шепотом.

После вчерашнего он потерял голос.

– Не помню, не помню, – сказал начальник. – А где вы раньше служили?

– Там же. Бухгалтером.

– Ага! Теперь я вспоминаю. Так вы и оставайтесь бухгалтером.

Не чуя от счастья ног, Евсей Львович возвратился в отдел, развернул главную книгу и сквозь радостные слезы посмотрел на ее розовые и голубые линии.

В отделе все было по-старому. За своей деревянной решеточкой сидел Филюрин, аккуратно вписывая в книгу регистрации земельных участков трезвые будничные записи. Семейство Пташниковых вертело арифмометр, щелкало костяшками счетов и копировало под прессом деловые письма. Инкассатор бегал по своим инкассаторским делам.

И не было только Каина Александровича. На его месте сидел другой.

За время прозрачности Филюрина город отвык от мошенников и не хотел снова к ним привыкать. По этой же причине угас приятнейший в Пищеславе дом Браков, не возвратился к живому делу энергичнейший управделами ПУМа Ивановский, а мадам Безлюдная так и не посмела возобновить свои неосновательные притязания.

Евсей Львович сполз с винтового табурета и подошел к Пташникову.

– Ну, что? – спросил он.

– Я думаю, что это на нервной почве, – ответил Пташников по привычке.

– А знаете, – закричал вдруг Филюрин, который в продолжение уже пяти минут рассматривал свое лицо в карманном зеркальце. – А ведь веснушки-то действительно исчезли!